Военные приключения

ДНЕПР – СОЛДАТСКАЯ РЕКА

СЕРГЕЙ МИХЕЕНКОВ

Военные приключения

Сергей Михеенков

Днепр – солдатская река

«ВЕЧЕ»
2016

Михеенков С. Е.

Днепр – солдатская река / С. Е. Михеенков — «ВЕЧЕ», 2016 — (Военные приключения)

ISBN 978-5-4444-8438-8

После выписки из госпиталя, расположенного в тихом тыловом городке, лейтенант Воронцов навещает деревню Прудки, с которой в его жизни связано столь многое. Но война упорно не хочет уходить из этих мест – в лесу действует загадочная абвергруппа «Чёрный туман». И вновь судьба сводит Воронцова с майором Радовским… А в это время рота старшего лейтенанта Нелюбина ведёт кровопролитные бои за плацдарм на правом берегу Днепра, где фашисты создали непреодолимый, как они считают, «Восточный вал»…

ISBN 978-5-4444-8438-8

© Михеенков С. Е., 2016
© ВЕЧЕ, 2016

Содержание

Глава первая 6
Глава вторая 13
Глава третья 24
Глава четвёртая 35
Глава пятая 37
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Сергей Егорович Михеенков
Днепр – солдатская река

© Михеенков С.Е., 2016
© ООО «Издательство «Вече», 2016
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
Сайт издательства www.veche.ru

Глава первая

Очнулся он среди тишины.

Для того чтобы хотя бы понять без посторонней помощи, где он, Воронцов попытался вспомнить, что же с ним произошло. Что-то же произошло, что кругом такая тишина, от которой, если сосредоточиться на ней одной, мурашки бегают по спине. Какая всё же нужная штука – память. Оказывается, она не просто помогает человеку обрести то, что он имел. Боевых товарищей, родню, кого-то ещё… Необходимые вещи. Хотя бы даже одежду. Сейчас на нём ничего не было, кроме бязевой рубахи и подштанников.

По белому потолку, по серому, выбеленному извёсткой электрическому проводу, ползла муха. Мухи в окопах всегда были бедствием. Особенно, когда недалеко, перед траншеями или возле кольев заграждения лежали неубранные трупы. Мухи прилетали с нейтральной полосы. Во всяком случае, им, обитателям траншеи, так всегда казалось. Иногда они облепляли лица спящих, залезали в рот и в ноздри. По живым они ползали, как по трупам. Однажды Воронцов застал спящим часового. Тот сидел на дне окопа, на еловой подстилке, обхватив обеими руками винтовку с примкнутым штыком, а по его лицу и рукам ползали мухи. Шустрые, лоснящиеся сытой фиолетово-зелёной окалиной. Воронцов, испугавшись, что часовой убит, наклонился к нему и, прежде чем встряхнуть его, согнал с лица мух. И тут же понял, что боец жив, что он просто спит. Спит на посту. Он высвободил из его рук винтовку, перехватил её и нацелил в грудь. И тут почувствовал, что на него смотрят. «Если кто уснёт, будить не стану. Так и знайте», – и, подцепив край шинели, с силой проткнул толстую материю, пригвоздив её к стенке окопа. Штык вошёл в сырой песок легко и глубоко, по самую мушку.

Боец тут же проснулся. Но ни встать, ни вытащить винтовку он не мог. Так и барахтался в своей ячейке, испуганно озираясь, пока кто-то из штрафников не выдернул штык из стенки окопа.

Потолок… Если над ним потолок, то он, по всей видимости, находится в землянке. Но откуда в землянке электрический провод и лампочка? В землянках под потолком в лучшем случае висели тусклые карбидки. А тут настоящая электрическая лампочка и настоящий электрический провод на фарфоровых изоляторах.

Всё-таки он кое-что помнит.

Скрипнула рядом кровать, напряглась панцирная сетка, и чей-то голос удивлённо спросил:

– Сосед! Ну что, братишка, явился? С возвращеньицем!

Воронцов повернул голову и увидел бритого наголо человека в больничной пижаме. Сосед. Примерно его лет. На подбородке свежий, только-только затянувшийся розовой кожей шрам. Нога в гипсе. Гипс замызганный, со стажем, исписанный химическим карандашом. Сосед ловко перекинул свой разрисованный саркофаг с кровати на пол, подхватил костыли и подошёл к Воронцову.

– Здорово ж тебя, лейтенант, дерябнуло! Мы уже решили, не выкарабкаешься. А тебе ещё, видать, повоевать охота. – И лысый, обеими руками держа гипсовую ногу, засмеялся.

Ни в какой он не в траншее, и даже не в землянке. Вот откуда здесь электропроводка и этот запах. Запах не лучше окопного. Но всё же другой, явно тыловой.

Воронцов осматривал своё тело. Ноги вроде целы, торчат под простынёй обе. Рука одна шевелится. Другая в гипсе, подвязана на растяжке.

– У меня всё цело? – разлепил губы Воронцов.

– Да вроде всё. – Сосед наклонился над ним, заглянул в глаза. – Ты себя-то помнишь?

– Да вроде не забыл.

– Зовут как?

– Александром.

– Меня Гришкой. А родом ты откуда?

– Смоленский.

– Не земляк, – разочарованно вздохнул Гришка и погладил свою блестящую макушку. – Я с Волги, из Саратова. Ну что, выспался? Три дня пролежал. Видать, мать за тебя молится. Или жена. Женат?

– Нет пока.

– Значит, мать. Материнская молитва, говорят, крепче. Хочешь чего-нибудь?

– Нет.

– А мы тебя будить пробовали. Нет, не разбудили. После такой операции нельзя спать. Если уснёшь… Организм прекращает сопротивление. Так что мы думали, что ты уже всё, смирился, не проснёшься. А у тебя сердце крепкое. – Гришка улыбался, заглядывал Воронцову в глаза, будто всё ещё не верил, что он действительно проснулся, а не бредит. – Если что надо, скажи. Что-то ты, Саша, вспотел. Лоб весь мокрый. Жар у тебя. Пойду-ка я за сестричкой схожу.

Гришка застучал костылями к двери.

Воронцов осмотрелся. Фронтовая привычка: оказавшись в незнакомой местности, первым делом необходимо изучить местность и прикинуть свои шансы. Палата небольшая, примерно четыре на четыре, четыре кровати по углам и четыре посредине. Но заняты всего три. На одной неподвижно лежит весь в гипсе и бинтах пожилой дядька. Даже лицо почти наглухо затянуто бинтами, только усы торчат. Усы пышные, с сединой. Они выдают возраст. Раненому лет сорок, не меньше. На угловой кровати, что возле двустворчатой двери, одна половина которой приоткрыта, так что из коридора тянет свежестью и прохладой, лежит с книжкой с жилистой красной руке щуплый и тоже немолодой. Другая рука у него в гипсе от самого плеча. Читает. Что же он, интересно, читает? На фронте совсем отвык от книг. В полевой сумке всегда лежала одна книжка – «Боевой устав пехоты Красной армии. Часть I. (Боец, отделение, взвод, рота)». Книжка довольно толстая, как «Мёртвые души» Гоголя. Только форматом поменьше. И выучил он эту книжку в красных матерчатых обложках за эти годы с лета сорок первого года почти наизусть. И не только теорию. Боец, отделение, взвод, рота… Бойцом он был. В сорок первом, под Юхновом и Медынью. Под Вязьмой. Да, под Вязьмой тоже. Хотя тогда его звали Курсантом. Уважительно: Курсант. Нет, кличкой это не было, скорее звание. Хотя и звание в то время имел – сержант. Но звание как-то не приживалось. Тогда же, осенью сорок первого, он командовал отделением. Потом – взводом. Взводом он командовал долго. Ещё и лейтенантского звания не имел, когда в отряде, в Красном лесу за Прудками, окруженцы и местные мужики избрали его командиром отряда. Отряд был небольшой, числом до взвода. И потом, зимой и весной сорок второго, когда прибились к отряду майора Жабо, снова командовал разведгруппой. Взвод конной полковой разведки, пожалуй, не больше, чем его разведгруппа, с которой он ходил через лес к Вязьме. А в последний день и ротой он успел покомандовать. Недолго, конечно. Да и рота была порядком выбита. Но всё же…

Третьего, лежавшего с ним голова к голове, он не видел. Но тот тоже не спал, чем-то шелестел и вздыхал, то удивлённо, то насмешливо. Должно быть, тоже читал какую-нибудь книжку. Курорт.

Итак, местность как местность. Ничего особенного. А шансы… Если сюда положили, то – не умирать. Хотя дядька, забинтованный наглухо, лежит неподвижно и глаз не открывает. Состояние его определить трудно. В госпиталях тоже умирают. Вспомнилась яма возле школы, в которой размещался их партизанский госпиталь, навес, жёсткие нары со слежавшейся соломой, превратившейся в труху. Как он тогда ушёл? Каратели уже ворвались в село,

а он ковылял, как мог, к лесу, опираясь на палку. Ему просто повезло. Рана на ноге начала заживать, и он уже мог ходить. Что с ним на этот раз, он ещё не знал. Судя по состоянию, рана серьёзная. Не зря соседи решили, что не жилец.

Воронцов тоже закрыл глаза. Прислушался к своему телу. Сильной боли он не чувствовал. Лишь к ногам уходили горячие волны, и легкое покалывание ощущалось в области живота. Значит, ноги целы. Он попытался пошевелить пальцами ног, и тут же как будто током ударило, и весь скелет, казалось, задрожал, как дрожит со звоном тугая проволока заграждений, стянутая в единый рисунок, в котором всё перекрещивается и переплетается, словно в едином организме; и вот в этот рисунок попал такой же тугой осколок… Целы мои ноги. Нет, не укоротила меня та проклятая мина. Ноги целы. И врачи, видать, пожалели резать. Доставляя в пункт первой медицинской помощи раненых, он не раз видел, как полевые хирурги кромсали перебитые руки-ноги бойцов. А меня, видать, пожалели. Пожалели… Надо ж было так глупо напороться на мину! После боя. Такой бой пережили, а тут… А что, не открывая глаз, подумал он о своей доле, наступит время и я встану на ноги, и пойду. И может, ребят своих догоню. Он собрался с мыслями и сразу ощутил, почти физически, самую яркую из них: он снова выжил. И теперь ему хотелось думать только о хорошем.

Легко, без скрипа, отворилась половинка высокой двери, выкрашенной белой краской. В палате всё было белым, стерильным. Воронцов открыл глаза, почувствовав, что кто-то вошёл, и увидел лицо Гришки.

– Гриш, – сказал он, – война ещё не кончилась?

Гришка засмеялся, и розовая кожа шрама на подбородке заволновалась, запрыгала, так что Воронцову стало страшно, что она лопнет.

– А ты, смоленский, шутник. Люблю весёлых.

– Я не особенно весёлый. Можно сказать, даже наоборот. – Воронцов вдруг почувствовал, что говорить ему тяжеловато. – Вот друг у меня был. Весёлый.

– Где ж он теперь, твой веселый?

– Похоронил я его.

– Похоронил? Если похоронил, закопал в землю и помянул, то это уже не так тяжело. Такого друга легко вспоминать. А вот если бросить пришлось… – Гришка нахмурился, отвернулся. – Слушай, смоленский, давай о чём-нибудь весёлом. Тебя когда ранило?

– Ну да, дело было весёлое…

– Да я не о том! Ты ж наверняка последних известий не знаешь. А наши Белгород взяли, Харьков, Орёл, Болхов, Жиздру.

– А Хотынец? Хотынец взяли?

– Хотынец? Что-то не слышал. И до войны я про него не слышал. Первый раз, вот только от тебя и слышу, что есть такой город.

– Наш полк на Хотынец шёл. Неужели не взяли?

– Да наверняка взяли твой Хотынец. Маленькие города не всегда и упоминают. В Москве даже салют был! Представляешь? В честь освобождения Белгорода, Харькова, Орла и твоего Хотынца! Гонят гансов по всему широкому фронту. А мы тут валяемся. Конечно, с одной стороны, не очень весело. Но с другой…

– Эй, капитан, хватит трепаться. От своего трёпа у меня температура повышается. – Это подал голос лежавший у стены любитель чтения. А может, и не он. Воронцов пока плохо различал их голоса.

Гришка хихикнул и начал перекидывать свой разрисованный гипс на другую сторону кровати, откуда раздался явно командирский голос.

Воронцов тоже повернул голову. Разговаривал усатый дядька.

– Чего ты к нему пристал? – начал выговаривать Гришке усатый. – Видишь, человек только-только в себя пришёл. А ты, видать, уже к Марье сбегал? Потрепался, душу отвёл. – И в глазах усатого мелькнула живая искорка.

– Сбегал. Доложил: мол, так и так, жизнь продолжается… Слышь, бать, а ты видел, какие груди у неё? Во! Только ордена носить!

– Трепач! – Усатый попытался шевельнуться, и хлипкая больничная койка вздрогнула под его могучим телом. – Как же я увижу?

– А, ну да. Ты ж ни хрена не видишь. – Гришка озабоченно посмотрел по сторонам. – А давай, бать, я тебе дырочку проколупаю. Чтобы ты – хоть одним глазком… Когда она к тебе нагнётся, ты и посмотришь. Самый момент… Одним глазом тоже можно всю увидеть.

– Да ну тебя к чёртям, капитан! Что ты, ей-богу!.. Как в детстве! В щёлку… За старшими девками…

Капитан… Что он его, в насмешку, что ли, называет капитаном?

– А чё, бать, было дело, да?

– Какое дело?

– Ну, за девками… Рассказал бы, скрасил досуг. А, бать? Тихо. Кажись, Марья…

– Вот я ей сейчас скажу, что у тебя не в то ухо ветер подул. Чтобы тебе, дураку, какую-нибудь таблетку дали. Чтобы дурь-то прошла.

– Нет таких таблеток, бать.

– Есть.

– У Марьи-то? При её стати у неё другие таблетки должны быть…

– Дурак. Вот гипс снимут, по уху тебе, трепачу, дам.

В коридоре слышались женские голоса. Видимо, один из них и принадлежал той загадочной Марье, о которой шептались усатый с Гришкой.

То, что в палату вошло начальство, Воронцов понял по той тишине, которая в один миг воцарилась под белым потолком среди белых стен.

– Ну что тут у нас? – послышался голос женщины средних лет. В этом голосе всё уже устоялось. И всё же Воронцов почувствовал в нём едва уловимую интонацию любопытства. В любой женщине всегда остаётся частичка той девочки, с которой, как ей кажется, она навсегда уже распрощалась. Давным-давно. Просто, видя тридцатилетнюю женщину, мы либо не знали её двенадцатилетней девочкой, либо забыли её. Человек – не предмет, у которого прошлого может и не быть. А у женщины прошлое порой бывает значительно глубже её прожитых лет.

Рука доктора была прохладной, почти невесомой, как утренняя тень в саду. И рука, и белый, тщательно выглаженный халат пахли лекарствами. И, пожалуй, только этот запах настойчиво напоминал о том, что никакая это не тень, и даже не женщина, а просто доктор. Доктор в больничной палате. В госпитале. Где он, Санька Воронцов, просто больной. Раненый, которого привезли сюда с передовой. В потоке битых, калеченых, искромсанных и обожжённых войной, но ещё живых, нашлось место и ему, лейтенанту ОШР. Лица её Воронцов не мог разглядеть. Медсестра тут же начала запихивать ему под повязку, в щель, градусник.

– Доктор, скажите, я буду ходить? Ноги мои целы? – спросил он о том, что казалось для него главным.

– Не только ходить, но и бегать будете. – Она откинула простыню и начала ощупывать бинты. Что-то непонятное сказала медсестре, что-то по поводу перевязки. Потом ему: – И ходить, и бегать. Но нужна ещё одна операция. Так что готовьтесь, лейтенант.

– Что, так сильно меня покалечило?

– Вам повезло. Кто-то из ваших товарищей правильно сделал первую перевязку. Быстро доставили в полевой госпиталь. Потом – к нам.

– Спасибо, доктор, – сказал он.

– Готовьтесь к операции, – сказала она.

И тут Воронцов увидел её лицо. Мягкий овал, смуглые веки, чёрные гладкие волосы, зачёсанные под ослепительно-белый колпак, и мягкие серые глаза, напоминающие прикосновение её рук. Кого она ему напоминала? Кого-то из прошлого, которое он хотел забыть навсегда. Особенно голос, интонация. Властная и в то же время женственная. Манера немного растягивать гласные в окончаниях слов.

Он закрыл глаза.

А доктор начала осматривать других ранбольных.

– Мария Антоновна, надо бы Кондратенкову тоже температуру измерить, – осторожно подал голос Гришка, жадно следя за каждым движением доктора.

– Эх, Гриша, Гриша… – тут же отреагировала она. – Не иначе вы в ухажёры ко мне набиваетесь! Не трудитесь, голубчик, ни фельдшером, ни истопником я вас при себе не оставлю. Недельки через три на переосвидетельствование и – на фронт.

– Фронта, Мария Антоновна, я не боюсь. А вот о вас скучать буду. Это правда.

– Ох, Гриша, Гриша, – вздохнула доктор. – Ну что там с твоим Кондратенковым? Кондратенков, как себя чувствуете? – И она наклонилась к пожилому, плотно укутанному бинтами и гипсом, которого Гришка называл батей.

– Устал я лежать в этой броне, товарищ доктор, – ответил усатый. – Пролежни, наверно, уже образовались. Бока ноют.

– Гипс начнём снимать на следующей неделе. Потерпите, Кондратенков. Потерпите.

Когда доктор ушла, усатый вздохнул и сказал:

– Капитан, разволновал ты меня, стервец.

– Ты, бать, о чём?

– Да про девок напомнил.

– Про каких девок, бать? – хитрил Гришка, вытянув шею и подмаргивая всем, кто лежал в палате.

– Ну как про каких? За которыми подсматривал. На речке, помню… Купальня у нас одна была. И они потом, ну, девки, платьишки свои и трусы в кусты выжимать ходили. Купались-то в платьях. А мы с Кузьмой, друг у меня был, затаились раз, ждём… Да ну тебя к чёрту, капитан! Ей-богу, как незнамо кто…

– Ну-ну, бать, давай дальше. Ты ж на самом интересном остановился. Вон, разведчик уже в калачик свернулся…

Батя молчал. Молча смотрел в потолок. Бинтов на голове у него после последней перевязки стало меньше. И лицо целиком открылось. Не такой уже и старый он оказался, как показалось Воронцову вначале.

– Я ж на одной из них потом женился. Кто ж про свою жену рассказывает?

Они засмеялись.

– Бать, а дети у тебя есть? – спрашивал читавший книгу. У него была перевязана грудь и ступня левой ноги.

– А как же. О них и думаю теперь день и ночь. Трое их у нас. Все сыны. Старшему через месяц семнадцать. На фронт рвётся. В аэроклуб ходит. Уже летает. А мы ещё до Днепра не дошли.

– Да, бать, попадёт твой старший на фронт как пить дать.

– Догонит нас где-нибудь под Варшавой.

– Неужто так быстро теперь пойдём?

– А что! Вон как гонят!

Заговорили остальные.

– А моему старшему пятнадцать. И я не знаю, жив ли он. Под Минском наша деревня.

– Там, говорят, в партизаны многие подались.

– Да, мужики… В один приём у нас не получилось. Мы-то, считай, уже второго призыва. Первого уже почти нет. Выбили весь. А, видать, и третий понадобится. Вот под него дети как раз и подрастут…

– Смоленский, – вдруг спросил Воронцова Гришка, – а ты какого призыва? На резервиста вроде не похож. С какого года на фронте?

– С сорок первого. С октября месяца.

Гришка присвистнул. Кивнул на подвязанную на растяжке руку:

– И что, эта твоя нашивка первая?

– Третья.

В палате сразу затихли.

– Да, кому как. Вон, батю по первому заходу, а как сразу…

Вскоре Воронцов узнал, что лежат они в тыловом военном госпитале, а вернее, в обыкновенной школе, переоборудованной под госпиталь, что находится эта школа-госпиталь в городе Серпухове Московской области на тихой улице недалеко от такой же тихой, почти неподвижной, реки Нары. В палате вместе с ним лежат офицеры. Четыре капитана, два лейтенанта и два майора. Так что Гришка действительно был капитан. Прибыл он сюда из-подо Ржева. Артиллерист, командир батареи дивизионных 76-мм орудий. Правда, через несколько дней Воронцов слышал, как он рассказывал свою историю совсем по-другому: воевал под Сычёвкой, в разведке. Батя – майор Кондратенков. Воевал в Пятой гвардейской дивизии с января сорок второго. Командовал ротой, когда его полк одним из первых ворвался в Юхнов. Перед самым ранением получил полк, преобразованный в боевую группу. Ранен под Износками. Места для Воронцова знакомые. Другой майор, Грунин, начальник штаба стрелкового полка той же Пятой дивизии, попал под обстрел, когда вместе со своим оператором и ПНШ по разведке обходил передовую. Теперь перечитывал школьную библиотеку. В разговорах он участвовал редко. Послушает, усмехнётся, снисходительно качнёт головой – и снова в книжку. Капитанов вскоре выписали. С ними Воронцов даже не успел как следует познакомиться. В один день они прошли медкомиссию и явились в палату уже в отутюженных гимнастёрках. Сияя медалями и нашивками за ранения, попрощались и отбыли по своим частям. Из всех капитанов остался один Гришка.

– А я в свой полк возвращаться не хочу, – подал голос один из лейтенантов, обычно молчаливо слушавший своих соседей. Он уже ходил по палате, бережно придерживая свой бок. Огромный осколок прошёл по касательной, разрубив несколько рёбер. Ещё бы на сантиметр глубже…

– А чё так, Астахов? – поинтересовался Гришка. Гришка интересовался всем. Поэтому вступал в любой разговор. Скучно ему было в госпитале, невыносимо. Всё чаще он заговаривал о своей батарее, о товарищах.

– Да комбат у нас – сволочь. – Астахов смотрел в окно. Там кивал листвой старый клён. Клён дорос до третьего этажа и наполовину закрывал окно офицерской палаты. – Прицепился ко мне – то не так, это не так… Штрафбатом угрожает. Ротный сквозь пальцы смотрит. Водку вечерами вместе жрут. Не вернусь. В армейский офицерский резерв пойду. А там – куда попаду, туда и попаду. Наша доля известная: больше взвода не дадут, дальше «передка» не пошлют.

А через несколько дней Астахов рассказал свою историю, из-за которой у него с комбатом и разгорелся сыр-бор. В роте у них была санинструктор, землячка Астахова. Они даже в одной школе учились до войны. И началась у них любовь. А потом приглянулась она комбату. Стала ходить к нему в землянку… У того до неё была радистка. Он её, с пузом, месяц как в тыл отправил. Комиссовали радистку. Командир полка после того случая всех радисток разогнал, солдат вместо них набрал, мужиков. А комбат санинструктора присмотрел…

– Да плюнь ты на них, Астахов! – утешал его Гришка. – Плюнь и забудь!

– Так ведь он её бросит. Позабавится, сволочь, и бросит. У него в Москве семья, жена и двое детей. Фотокарточку как-то показывал. А мне пригрозил: будешь под ногами, мол, крутиться, в штрафную, на усмирение, пойдёшь…

– А чё ты штрафной боишься? Вон, Сашка, восемь месяцев в штрафной воевал! Вся грудь в орденах! Смотри, очухался и снова на передовую рвётся.

– Ты, Гришка, людей не баламуть, – оборвал артиллериста майор Кондратенков. – Зачем ты его под руку толкаешь? Видишь, он не в себе ещё. Такое не сразу забывается. Понимать надо. А тебе, Астахов, действительно в другую часть лучше уйти. А, знаешь, давай ко мне! У меня часть особая.

– Бать, да тебя же комиссуют, – возразил Гришка.

– Ни хрена меня не комиссуют! Ты что на меня, как на списанного одра смотришь? Комиссуют… Скорей тебя спишут. В тыл или ещё куда. Вошебойкой командовать.

Когда успокоились, майор Кондратенков, с трудом перевернувшись на бок, сказал:

– Вот у меня в полку насчёт этого, бабского дела, полный порядок. Я это ещё с прошлого года завёл: ни одной бабы на передовой. Чтоб и не пахло нигде юбкой. Бойцов набрал. Через месяц и санитарами стали, и фельдшерами. Так-то.

– Жестокий ты мужик, батя.

– Зато в землянках бл…ва нет! И командиры делом заняты. Голова у них работает правильно. Думают о том, как солдата накормить, да чтобы он не завшивел в окопе и малярией не заболел. А не о том, как удобней землянку перегородить, чтобы там радистке юбку задирать.

А Воронцов думал вот о чём. Если доктор говорит правду, если через месяц-другой он встанет на ноги и снова на фронт, то куда возвращаться ему? Снова в штрафную роту? Капитан Солодовников тоже где-то лежит в госпитале. Жив ли? Санитары уносили ротного в тыл в бессознательном состоянии. Медведев и Бельский убиты. Кондратий Герасимович… Его конечно же терять не хотелось. Старый боевой товарищ. Но если возвращаться, то неизбежно придётся выяснять отношения со старшим лейтенантом Кацем. Вот уж кого Воронцов не хотел видеть ни при каких обстоятельствах. И тут же он успокаивал себя: рано, рано думать о возвращении, слишком рано и самонадеянно…

Глава вторая

Однажды утром после очередного обхода Воронцова переложили на носилки и по прохладному коридору, пахнущему хлоркой и табаком, понесли в операционную.

Операцию делали под местным наркозом. Ему казалось, что он чувствует все боли, что никакого обезболивающего ему не сделали. Он собрал все свои силы и поднял голову, чтобы посмотреть на свои ноги. То, что он увидел, его ужаснуло. Кожа казалась содранной начисто, а из тканей мышц и переплетающихся сухожилий торчали какие-то тампоны и бесформенные предметы разной величины. Когда по дну эмалированного сосуда захлопал металл, Воронцов догадался, что он только что видел, и закрыл глаза.

Он снова пролежал неподвижно не меньше суток. На этот раз спать ему не давали. Гришка и лейтенант Астахов сидели над ним по очереди и будили:

– Не спи, Сашка, не спи, браток, нельзя тебе засыпать.

Даже майор Кондратенков окликал его, приказывал проснуться и думать о родных, если уже невмоготу.

Время, казалось, пронзало его тело, не задевая ни души, ни мыслей, и уходило, отлетало прочь, навсегда. Как ветер в поле. Как трассирующие пули, легко прорезающие пространство, – одна, другая, третья… Настоящего Воронцов почти не чувствовал. Он остро чувствовал прошлое. Но не всё прошлое, а только то, что с ним произошло в последние два года. Лица, глаза, голоса, жесты. Ему снова пришлось вспоминать и себя. Но многое он вспомнить так и не смог. Почему? В прошлом существовала какая-то злая и беспощадная сила, которая и угнетала и манила одновременно. Невозможно отделаться от прошлого. И вот что ещё он заметил: то, что в настоящем казалось пустяком, со временем вырастает до размеров невероятных. Когда-то в бою не оглянулся на крик о помощи. Боец, бежавший в цепи рядом, упал, а он не оказал ему первую помощь. Даже не подал команду другим, чтобы его перевязали и унесли в тыл… О другом подумал плохо и даже приказал сержанту присматривать за ним особо, а через день он лучшим образом проявил себя в бою… Стёпкиной матери до сей поры не написал письмо…

Иногда ему казалось, что он спит в траншее и вот-вот надо вставать, проверять посты, а потом идти на доклад к ротному, что госпиталь ему просто снится. Такая невероятная тишина не может быть реальностью. Скорее всего, ночью был обстрел, и его просто контузило близким взрывом, взрывной волной ударило затылком о стенку окопа…

Несколько раз он видел, как над ним наклонялись то Гришка, то лейтенант Астахов. Они заглядывали в его глаза, как в пустой колодец, который всё никак не мог наполниться водой, а та вода, которая скудно приходила, оказалась слишком мутной и непригодной. Гришка всё время что-то говорил, говорил, иногда даже принимался тормошить его:

– Не спи! Не спи! Борись, Сашка, за жизнь! Другой не будет!

Лейтенант Астахов молча вытирал ему лоб сырой марлей. От прикосновений мягкой, как женская рука, марли становилось легче, спокойнее. Он даже подумал, что если сейчас умереть, то, наверное, самое время. Потому что – не страшно. Он видел, как умирали на передовой. И если умереть, решил он, то надо как-то незаметно и спокойно, как умирали в окопах на руках у товарищей тяжелораненые, которым нечем было помочь.

Наконец он всё же не выдержал и уснул. И этот сон был уже другим сном, не тем, которого надо бояться. Так забывается человек, у которого впереди ещё целая жизнь.

Прошёл месяц. И однажды Воронцов, взяв костыли, оставленные ему капитаном Гришкой, который неделю назад отбыл из госпиталя прямой дорогой на фронт, сделал по

палате несколько шагов. Майор Кондратенков сидел на таком же массивном и основательном, как и он сам, табурете, обитом дерматином, и одобрительно кивал головой.

– Ну что, Иван Корнеевич! Вот видишь! Уже иду! – Воронцов обливался потом. Коленки подгибались. Мышцы сводило судорогой. Но главное – произошло. Он встал на ноги. А остальное можно перетерпеть. А потом потихоньку восстанавливать.

Последние осколки, которые обнаружил рентген, Мария Антоновна удалила ему неделю назад. Повязки ещё не сняли. Но, самое главное, снят был гипс. Наконец-то он избавился от надоевшего и измучившего его саркофага, сковывавшего таз и ноги. И вот теперь сделал несколько шагов. Пусть пока на костылях. Но зато самостоятельно. Майора Кондратенкова он предупредил, чтобы не смел помогать ему, даже если он упадёт.

– Поднимусь сам.

Майор сел на табурет и покачал головой:

– Ну и характер у тебя, Александр Батькович! Яд, а не характер. Пойдёшь ко мне в полк? Роту дам! С таким характером через полгода комбатом будешь!

Майор уже ходил. Костыли не признавал. Поднимался и, держась то за стенку, то за дверной косяк, выбирался из палаты, чтобы покурить в коридоре возле окна, где собирались ранбольные. Там, прежде чем по-братски раскурить свежую газету, внимательно читали сводку. Наши армии по-прежнему наступали, нажимали вперёд на всех фронтах. Подкатывались уже к Днепру, где противник основательно укрепился по линии так называемого «Восточного вала»[1]. Там, судя по всему, немец намеревался остановить наступление Красной армии. Значит, там и намечалась главная рубка. Она и решит судьбу осени и, возможно, предстоящей зимы.

Две недели спустя майора Кондратенкова начали готовить на выписку.

– Всё, Сашка, направлен в армейский дом отдыха. Где-то тут, недалеко. Долечиваться там буду. Но, думаю, это ненадолго. Дела вон какие на фронте происходят. Грунин письмо прислал. Он уже на месте. Нашу боевую группу снова в полк развёртывают. Стоят во втором эшелоне. Командира пока нет. И ротных не хватает. Смекаешь, Сашка, на что я тебе намекаю?

– Что ж от своих… – Воронцов неопределённо пожал плечами.

– Кто у тебя там свои остались? В штрафную опять пойдёшь? На тройной оклад? Не дури. Слушай меня внимательно. Я ж тебя от фронта не отговариваю. Ты – боевой офицер, и я тебе предлагаю не интендантскую землянку за три километра от окопов, а стрелковую роту. Пойдёшь на поправку, сделай так, чтобы тебя зачислили в офицерский резерв фронта. Из армейского я тебя не смогу вытащить. В другую армию тебя оттуда не отдадут. А из фронтового я тебя вытащу. Личное дело твоё я уже просмотрел. По всем статьям ты мне подходишь. Полк, Грунин пишет, соседней армии передают. А соседняя у нас – Тридцать третья. Сме-

[1] «Восточный вал» – после поражения под Курском и Орлом германское командование разработало план обороны, который предусматривал создание так называемого «Восточного вала» – оборонительной линии от Чёрного моря до Балтийского. Кодовое название плана – «Вотан». В свою очередь, вал делился на рубежи «Пантера» и «Вотан». Поэтому иногда в некоторых источниках «Восточный вал» называют «Линией Вотана» или «Линией Пантеры». Вотан – в древнегерманской мифологии бог грома и молнии, верховный бог, царь асов, хозяин Валгаллы, где пируют асы и куда попадают погибшие на поле битвы воины. «Линию Вотана» создавали и обороняли войска группы «Юг» и «А». «Линию Пантеры» – «Север» и «Центр». К строительству «Восточного вала» немцы приступали трижды: в 1941–1942 годах, когда операция «Тайфун» закончилась катастрофой у стен Москвы; весной 1943 года, после Сталинградского «котла»; осенью 1943 года, после провала операции «Цитадель». Оборонительная линия создавалась на высоком правом берегу Днепра, который господствовал над окрестностью и являлся естественным идеальным местом для длительной обороны. Оборонительная линия состояла: из противотанковых рвов, проволочных заграждений в 4–6 рядов, глубоких траншей и ходов сообщения полного профиля, блиндажей, минных полей, дотов и дзотов, железобетонных убежищ и командных пунктов. На каждый километр обороны приходилось в среднем 8 бронеколпаков и 12 дзотов. Самые мощные укрепления были созданы у Кременчуга, Никополя и в Запорожье. Левый берег Днепра на всём протяжении на несколько километров в глубину был опустошён в соответствии с тактикой «выжженной земли».

каешь, Александр Батькович? Командует армией генерал-лейтенант Гордов. Не хуже твоего Ефремова. Тридцать третья правым флангом стоит перед Вязьмой. Вот-вот наступление начнётся. Мы, брат, и Гришку разыщем. Хоть его и выписали ограниченно годным, но характер его я знаю. В тылу не усидит.

Через несколько дней Иван Корнеевич Кондратенков уехал в дом отдыха. В палату заселили новых постояльцев. На этот раз привезли двоих танкистов и разведчика. В первую же ночь один из танкистов умер. Но уже вечером на его кровать положили новоприбывшего капитана-артиллериста.

Шли дни, однообразные, словно вид из госпитального окна. Так уж устроен человек, что, когда прижимает, когда снимают с кузова грузовика твоё разбитое, истерзанное тело и кладут на мягкую кровать, от которой давно уже отвык, когда начинают над тобой кружить санитарки и врачи и ты понимаешь, что выжил, пребывание в госпитале кажется раем. Оказывается, ты жил, потом воевал, и мог погибнуть, так и не узнав, что существует, посреди этого хаоса смерти и разрушения, такое место, где все добры, внимательны и спокойны, где ни офицеры, ни солдаты не матерятся, где не надо выставлять часовых, прежде чем лечь спать, где неплохо кормят и при этом не надо ждать старшину с его вечно пропадающими неизвестно где кухнями. Место это называется госпиталем. Всего лишь навсего. И размещён, развёрнут этот рай в приспособленном здании, в обыкновенной школе в районном городке.

Но приходит и другое время. Опухоль спадает. Ноги зудят. Хочется поскорее избавиться от осточертевшего скафандра, наполненного смрадом тлеющей кожи и гноя. Наступает день, когда лубок наконец снимают. После помывки, нежной свежести чистой воды, возвращающей те ощущения, с которыми ты, казалось, навсегда уже расстался. Но вдруг начинаешь различать словно где-то, пока будто в отдалении, тихий голос тоски. Тоска застаёт тебя врасплох, как ночная разведка задремавшего часового. Вот ты проснулся, а вокруг уже всё другое, и ты сам другой, и понимаешь, что сам себе уже не принадлежишь. Тебе не хочется возвращаться в палату. Ещё сегодня утром ты лежал поверх одеяла и остервенело шурудил сухим калёным прутиком под своим чугунным жилетом, распространяя вокруг трупный запах своего частично умершего тела. Но теперь мертвячина счищена, смыта. И тебе хочется на волю, под деревья, которые шумят во дворе, под дождь, шлёпающий по камням мощёных тропинок, по жестяным отливам коридорных окон, которые всегда приоткрыты, особенно ночью. С каждым днём и часом к тебе возвращаются силы, прежняя ловкость. И тоска уже разливается по всему телу и захватывает тебя, окликает голосами товарищей, оставшихся где-то на войне…

В один из дней Воронцов выпросил и Марии Антоновны свою полевую сумку.

– Зачем она вам понадобилась? – Она заполняла какие-то бланки, когда он постучал в дверь её кабинета с деревянной табличкой «Учительская». Когда она опускала глаза, делая очередную запись в бланке, смуглые веки её сияли.

Никогда прежде, до войны, Воронцов не смотрел на женщин так, как хотелось смотреть теперь. Словно там, в прошлом, его окружали совсем другие женщины.

– У меня ведь никаких вещей не осталось. Только шинель да полевая сумка. Ребята сунули под голову…

– Ну и зачем вам ваша сумка?

– Починить её хотел. Ремешок перебило. Шинель посмотреть. Пока время есть, может, подошью.

Мария Антоновна подняла глаза и сияние её смуглых век, от которых Воронцов не мог оторвать взгляда, исчезло. Она взглянула на него мельком, даже не задержав взгляда, и усмехнулась:

– Тоже, что ль, к фабричным собрались? Не рано?

Недалеко от школы начинались корпуса текстильной фабрики. Гришка последние дни пропадал именно там. Возвращался довольный и молчаливый, как сытый кот. Приносил иногда им какие-нибудь домашние сладости.

– Никуда я не собрался. Письма там у меня. Из дома. Адрес матери друга. Ордена.

– А друг где воюет?

– Друг погиб.

– Погиб… Сколько ему было лет?

– Мы с ним одногодки.

Мария Андреевна заглянула в карточку и сказала:

– Вы выглядите значительно старше своих лет.

– Да, наверное.

– Что ещё? В сумке что ещё? – вернулась она к разговору, с которым он пришёл в ней. – У майора Фролова завтра день рождения. Мне уже доложили. А у вас в сумке, вероятно, фляжка? С фронтовым запасом?

– Вряд ли она там осталась. А вот бинокль должен быть. – И спохватился: зачем я ей ляпнул про бинокль? Вдруг заинтересуется, что у него там ещё кроме бинокля?

– У нас на складе воров нет, лейтенант Воронцов.

– Да нет, Мария Антоновна, я не то имел в виду. Простите.

Она взяла четвертушку листа и что-то косо черкнула на нём.

– Вот, возьмите. Разыщите завхоза, её зовут Лидией Тимофеевной, и скажите, что я разрешила.

Воронцов взял листок. Попрочнее упёрся в пол костылями и спросил:

– Мария Антоновна, на мне, кроме бинтов, ничего не было? Здесь, на груди.

– Вы имеете в виду полотенце? – вдруг спросила она. – Оно цело. Но пришлось его разрезать. Девочки его постирали. Там же, на складе, вместе с вашими вещами хранится.

– Спасибо, Мария Антоновна.

– Что, талисман? Оберег?

– Да, что-то вроде того…

– От матери? Или от женщины?

– От женщины.

– Два осколка застряли на поверхности. Такое впечатление, что именно полотенце и не позволило осколкам войти глубже в тело. Я попросила девочек его постирать и положить к вашим вещам.

Шинель его лежала на обозной повозке в скатке. Её принесли, когда Воронцова уже увозили на санитарной машине. Теперь он кое-что вспоминал. Память возвращала те минуты перед взрывом по крупицам, будто фрагменты мозаики. Удивительно, но сознание он потерял уже в лесу, когда машина подъезжала к госпиталю и девушка-санитарка, придерживавшая его голову на своих коленях, сказала: «Ну вот, миленький, приехали. Сейчас тебя прямо на стол». Фляжка со спиртом оказалась в кармане шинели. Там же лежала медная створка складня с Архангелом Михаилом. Его талисман. Память о Шестой курсантской роте. Расстался он тогда с ним, оставил в обозе. Всегда ведь брал с собой, а в то утро забыл переложить из шинели в гимнастёрку. Но перед боем, словно чувствовал, обмотался полотенцем.

Воронцов сидел на широкой скамье в углу школьного сквера и раскладывал на коленях своё добро. К вечеру становилось уже прохладно. Сентябрь. И он накинул на плечи шинель. Как хорошо было в ней! Как уютно и беспокойно одновременно!

Он вытащил тряпицу, в которую были завёрнуты его погоны и награды: орден Красной Звезды и две медали «За отвагу». Интересно, кто их сохранил? Ведь кто-то же положил их сюда. Гимнастёрка, судя по всему, была вся изодрана. Её с него просто срезали

частями. Он не раз видел, как это делают. Но кто снял погоны и награды и бережно сложил в сумку? Дальше лежал свёрток выстиранного и выглаженного полотенца. Под ним бинокль и запасная обойма. В ней не хватало двух патронов. А внизу, под трофейными медицинскими пакетами, торчал вверх ствол офицерского «вальтера». У Воронцова даже кончики пальцев кольнуло. Хорошо, что никто не проверил его сумку. Там же лежал, рукояткой вниз, его трофейный нож, который он снял вместе с фляжкой с убитого снайпера возле Варшавки.

Письма, перетянутые льняным шнурком, были стиснуты в другом отделении. Пачка тридцатирублёвок. Собирался отослать деньги Зинаиде и не успел. Блокнот, список взвода и список потерь штрафной роты. Теперь это вряд ли кому-то нужно. Но выбрасывать списки Воронцов не стал. Пошарил внизу и вытащил бритву. Кто ж её сунул ему в сумку? Ведь это была бритва лейтенанта Бельского. Она должна была лежать в сумке Бельского, которую носил вестовой Быличкин. Значит, это Быличкин всё переложил и сунул ему под голову. Быличкин жив. Не задело его ни взрывной волной, ни осколками. Ребята ничего не стали оставлять себе. Верили, что он выживет. Где они теперь? Не успел он написать на них реляции. Если только Гридякин напишет. Или Кондратий Герасимович. Нашёл ли он сына? Танков в том поле погорело много. А вещи лейтенанта Бельского ребята поделили, бритва досталась ему.

Фляжку и письма он сунул за пазуху. Остальное аккуратно сложил в сумку, застегнул её и пошёл на склад. У Лидии Тимофеевны, пожилой, деревенского вида женщины с усталым лицом, поинтересовался, во что его оденут и обуют, когда придёт время выписываться?

– Что-нибудь, сынок, подберём. – Лидия Тимофеевна с любопытством посмотрела на него. – Никого раздетым не отпускаем. Всех одеваем-обуваем, паёк на дорогу выдаём.

На стеллажах лежали стопы простиранной и выглаженной одежды.

– Ростика-то ты, сынок, немалого. И правда, на тебя заранее одёжку подбирать надо. Ладно, подберу. Нового не дадим. Не обессудь. Но чистенькое, заштопанное… За некоторыми из частей приезжают, так им новое всё привозят. Начальство… Так что у нас тут обменный фонд большой.

Лидия Тимофеевна снова приладила на полевой сумке и свёрнутой в скатку шинели Воронцова бирку на бумажном шпагате, покачала головой:

– А что это ты, сынок, шинелюшку свою скатал по-дорожному? Нескоро тебе ещё. Такого тебя, Марья Антоновна ещё месяц продержит. А то и дольше. – И вздохнула. – Навоюешься ещё. Не майся. Девку себе фабричную найди. – Она засмеялась каким-то хриплым, задавленным смехом. – Поживи, сынок, спокойно. Война теперь далеко. Вон куда немца прогнали! А девка тебе, такому красавцу, любая рада будет. Женихов-то нынче нет. Побили женихов…

Да нет, маета не проходила.

Отметили день рождения майора Фролова. Из дому ему пришла посылка. Сдвинули у окна тумбочки, постелили газету. Фролов, лысоватый, узколицый, с быстрым взглядом, размахивая загипсованной рукой, отдавал распоряжения, что куда поставить и что как порезать. И питья, и закуски наставили и навалили на подоконник и тумбочки много. И это обилие домашней еды радовало глаз. Воронцов положил в середину свою фляжку.

– О! Благородный жест настоящего фронтовика! – сказал Фролов улыбаясь.

Фролову было под сорок. Служил начальником оперативного отдела штаба одной из стрелковых дивизий 33-й армии. Ранили где-то под Износками.

Когда хорошенько выпили, а потом несколько раз повторили, когда развязались языки и разговоры начались душевные, Фролов пересел на кровать к Воронцову и спросил:

– Иван Корнеич говорил, что вы весной прошлого года под Вязьмой были?

– Был.

Фролов долил Воронцову в кружку, плеснул себе и сказал:

– Давай помянем нашего генерала. Суровый был мужик. Как там, у Лермонтова: слуга царю, отец солдатам… И всех, кто с ним остался, там, за Угрой, тоже помянем.

Воронцов вспомнил командарма Ефремова, промозглое утро в сосняке, последнюю атаку на прорыв… Потом ему не раз казалось, что поступили они неправильно. Получалось так, что бросили они своего командующего. А генерала и мёртвого нельзя было оставлять немцам. Никому он не рассказывал о том последнем бое на прорыв. Только однажды со Степаном, оставшись наедине, вспомнили полушёпотом о своих товарищах. Но и во время того разговора ни он, ни Степан о генерале не проронили ни слова. Хотя оба думали о нём.

– Особняку потом на вопросы отвечал? – спросил Фролов, кинув на Воронцова свой быстрый взгляд.

Воронцов кивнул и напрягся. Что хочет сказать ему майор Фролов?

– Молчишь. И правильно поступаешь. Знаешь что, парень, скажу я тебе… – Фролов наклонился к нему. – Помалкивай лучше об этом впредь. Иначе выше взвода не пойдёшь. Так и будешь всю войну тянуть лямку Ваньки-взводного. Знаю я, как относятся к тем, кто побывал в окружении. А предложением майора Кондратенкова не пренебрегай. Он человек слова. Своих не бросает. И блох в старых рубахах искать не станет, и другим делать этого не позволит. Подумай.

Почти на всех фронтах шло успешное наступление. В сводках говорилось о том, что наши наступающие части в нескольких местах захватили плацдармы на правом берегу Днепра и удерживают их, расширяют и усиливают резервами. Понимали, каково им там, на плацдармах. Ждали новых добрых вестей: что вот-вот на правый берег Днепра перекинутся и основные силы, и тогда пойдут развивать наступление в глубину, как это было после Орла и Белгорода.

В палате повесили репродуктор, и теперь он не выключался. Ранбольные собирались группами, возбуждённо обсуждали сводки.

– Во колошматят их на Днепре!

– Слыхали, как сообщают? Танковые корпуса, танковые армии… Сила!

Но те, кто постарше, покуривали свои цигарки молча. И только иногда кто-нибудь из них ронял задумчиво:

– Да, ребята, Днепр – река широкая…

В один из дней Воронцов отпросился в город. Решил послать в Прудки Зинаиде и детям деньги, которые скопились за последнее время. Мария Антоновна выслушала его и сказала:

– Вообще-то не положено. Раненые не должны появляться в городе. Вот задержит вас патруль, мне нагоняй будет. И в подштанниках ведь вы не пойдёте?

– Прикажите что-нибудь подобрать. Лидия Тимофеевна обещала…

– Подберём, подберём. Только патрулю не попадитесь. – Она взяла лист бумаги и что-то размашисто черкнула. – Вот, возьмите.

– Что это?

– Увольнительная, – усмехнулась она. – Записка моей маме. О том, что я послала вас с поручением. На всякий случай запомните: улица Тарусская, дом двенадцать. Если попадётесь патрулю, скажите, что начальник госпиталя поручила вам узнать, всё ли в порядке дома. Мама больна. Видите, вы принуждаете меня лгать, спекулировать здоровьем матери… Ладно, ладно, идите. В худшем случае, если патруль вам не поверит, вас приведут сюда. Ко мне.

В Серпухове Воронцов не раз бывал до войны. Летом сорок первого. Их Шестая рота какое-то время стояла в летнем лагере недалеко от дороги на Тулу. Рядом с лагерем находилась деревня Лужки, куда они иногда ходили за молоком. Летний военный лагерь тоже именовался «Лужками».

Переодевшись в диагоналевую гимнастёрку и шаровары, Воронцов застегнул шинель, затянул, как положено, ремень, перекинул через плечо полевую сумку, в которой тяжело стукнул бинокль, и вышел со школьного двора в сторону земляного моста. Где-то там, в двух кварталах от госпиталя, находилось почтовое отделение.

Он шёл, прихрамывая на обе ноги. Солнце всё ещё пригревало по-летнему, и, пройдя половину улицы, он почувствовал, что спина его вспотела. Конечно, сразу догадался он, дело вовсе не в солнце. Устал. Ноги дрожали. Захотелось присесть. Он посмотрел по сторонам. Вот так, с непривычки… Даже такой марш, оказывается, пока не под силу.

– Скажите, пожалуйста, я правильно иду к почте? – спросил он прохожих.

– Да, боец, вон она, твоя почта, – указал рукой один из них, и Воронцов встретился с ним взглядом: внимательные глаза неопределённого цвета, настороженные и одновременно какие-то торопливые, спешащие обшарить всё, и человека, и пространство вокруг. На вид лет двадцать, не больше. Другой значительно старше. Оба в добротных офицерских сапогах. Молодой одет в вельветовую куртку, а пожилой в добротное осеннее двубортное пальто, очень хорошо сидевшее на нём.

Они разминулись. Воронцов решил всё же дотянуть до почты не отдыхая. Двухэтажное здание с синей вывеской постового отделения виднелось впереди, за два дома. Но он вдруг подумал, что, дойдя до почты, не сможет идти назад, и получится… Что может получиться из того, когда на почту приходит раненый, находящийся на излечении в госпитале, а назад идти не может? Чего доброго, не Марье позвонят, а в комендатуру… Тогда он подведёт и Марию Антоновну, и себя. И больше она ему такие прогулки не позволит.

Он перешёл через пустынную улицу и свернул в переулок, ведущий куда-то вниз, как видно, к реке. Потому что снизу тянуло влажной прохладой близкой большой воды. Идти вниз оказалось значительно легче. Правда, потом придётся подниматься вверх. Ничего, подумал он, вырежу палку, и с нею я куда угодно доковыляю. Он вспомнил, как год назад бежал, опираясь на палку, от карателей. Тогда он летел на своём костыле, как на коне. Сколько раз он мог быть убит! Но каждый раз что-то происходило, и он выкарабкивался. Судьба, словно испытывая его, словно приберегая для чего-то, в последний миг бросала соломинку, и соломинка помогала догрести до берега. Почему так происходило? Ведь все, с кем в октябре сорок первого он отрывал первый свой окоп на реке Извери под Юхновом, погибли. Кто там, в тех окопах, кто несколькими днями позже, на Угре и на Шане, а кто совсем недавно. И вдруг он вспомнил, как однажды, когда их группу выслали в боковой дозор и он, командир группы, остановил выходящий из окружения полк майора Алексеева, ему приснился сон. Снилась ему вроде бы Любка, деревенская его подружка, но и не совсем Любка. Снилось какое-то сияние, которое ему показала Любка, и, когда он спросил: «Кто там?», Любка ответила: «Богородица». Потом он спросил: «Я теперь умру?» Но никто ему не ответил. И всё исчезло. И Любка, и то сияние, которое он так и не разглядел, потому что оно не имело каких-либо отчётливых очертаний. Никто ему не ответил на его вопрос. Тогда он очнулся и понял, что спит в окопе, на НП майора Алексеева… Вот почему он был так спокоен в бою. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днём… Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя… но к тебе не приблизится… Только смотреть будешь очами твоими…» Эти слова из Псалтири, которую читал монах Нил день и ночь. И иногда, украдкой подходя к его жилищу, Воронцов слышал в открытое окно его тихое бормотание, порой переходящее в шёпот благодарности. Кого благодарил монах Нил? Небо? Озеро? Тишину, накрывающую и Бездон, и хутор, и песчаную косу, поросшую елями и соснами своей благодатью? Бога? Так ведь всё это, вдруг понял Воронцов: и озеро с отражённым в нём небом, и запах хвои, и мерцание солнечных бликов на песчаном холмике, усыпанном пролесками, и есть Бог. А иной, без Бога, тишина разве может быть? Он вспомнил монаха Нила, его взгляд, его молчаливые долгие стояния на краю берега у озера, его редкие слова, его молча-

ние. Хозяин хутора Иван Степанович как-то сказал Воронцову, когда он спросил о монахе Ниле, что Нил здесь живёт потому, что нашёл Бога… А может, Бог – это тишина? Тишина без выстрелов и стонов раненых. Тишина, в которой отчётливо слышен шорох листвы и свист утиных крыльев. Тишина, которая не разрушает молчание. Воронцов вспомнил курсанта Селиванова, убитого полтора года назад возле Варшавского шоссе неподалёку от станции Мятлево. Селиванов, должно быть, тоже молился о том же. Створка складня Селиванова лежала в его полевой сумке.

Он вздохнул. Душа опустела. И подумал: когда смерть заглянет в твои глаза, поверишь во что угодно.

И всё же Бог – это тишина.

Палку лучше всего вырезать у реки. Там наверняка растут ивы. Из ивы получится прочная палка. Нож у него есть.

Воронцов оглянулся и увидел в конце переулка человека в короткой вельветовой куртке и высоких офицерских сапогах. И сразу же понял, что оглянулся не случайно – он почувствовал пристальный взгляд в спину. Почему он идёт за мной? Через минуту Воронцов оглянулся. В переулке никого не было. Ерунда какая-то, нервы совсем расшатались. Он снова оглянулся. По другой стороне узкой улочки, выложенной булыжником, шла девочка лети десяти, худенькая, с длинными ножками, очень похожая на младшую его сестру. Он даже остановился. Из-под платка смешно, на две стороны, торчали две косички. Видимо, сама заплетала. Вылитая Стеша. Она несла белый бидончик, держа его на отлёте и изогнувшись над ним хрупкой тростинкой своей гибкой фигурки. Он закрыл ладонями лицо, чувствуя слишком сильное нервное напряжение, и некоторое время стоял так. Колени всё ещё дрожали. Но теперь дрожало и всё тело. Надо было успокоиться. Он вздохнул и отнял от лица руки. Никого в проулке не было. Да, передовая в первую очередь ранит не тело. Хотя там, в окопах, этого не замечаешь. Усталость накапливается постепенно. И никуда не уходит. Словно годовые кольца, она наслаивается, уплотняется с каждым новым кольцом, отяжеляя душу. Как, чем разомкнуть эти кольца-кандалы? Наверное, душе надо пожить без войны, среди тишины, чтобы почувствовать в ней свободу. Потому что свобода – это и есть Бог.

Воронцов пошёл дальше. Впереди блеснула отражённым небом река. Белые, умытые ночным дождём лобастые булыжники её сияли. Мощёная дорога обрывалась у воды. Там же, внизу, чернел старыми сваями и прочным настилом причал, сплочённый с мокрыми сваями длинными кривыми скобами. Возле причала, поскрипывая стёртыми и разлохмаченными автомобильными покрышками разного калибра, стоял вплотную причаленный старенький буксир с надписью на помятой носовой части: «Политотдел». У берега, уткнувшись в самодельные бакены, выкрашенные в голубой цвет, колыхались на лёгкой волне лодки. Боже, как здесь было хорошо и пустынно!

Он свернул с мостовой и пошёл вдоль берега. Сырая чёрная земля, похожая на огородную, проминалась под подошвами его сапог. Сапоги ему Лидия Тимофеевна выдала старенькие. Других не нашлось. Он долго чистил их щёткой, потом шлифовал куском шерстяной зимней портянки. Но самая беда, размером они оказались маловаты. И теперь он это чувствовал особенно. Правую ногу сдавливало, словно тесным гипсом. Видимо, он уже стёр пятку.

Дома остались позади. Начиналась пустынная пойма, заросли камыша и ив. Воронцов зашёл в ивняк, выбрал подходящий побег и вытащил из полевой сумки нож. Он сел на старую сухую корягу, выбеленную солнцем и объеденную улитками, отсёк ножом ветки и макушку. Палка получалась удобной, правда, немного тяжеловатой. Ничего, подумал Воронцов, высохнет, станет лёгкой. Он счистил кору и слегка заострил конец. И в это время снова почувствовал пристальный взгляд в спину.

Шагах в десяти от него стояли двое. Те самые, у кого он спрашивал дорогу до почты. Молодой, в вельветовой куртке, и пожилой, в ладном пальто. Рожи постные. В глазах тот особый блеск, который Воронцов видел у бойцов перед атакой.

Воронцов встал. Но молодой тут же, в несколько прыжков, перекрыл ему дорогу назад, к пристани, и, нагнувшись, ловко, с каким-то нарочитым артистизмом, характерным для блатных, выхватил из-за голенища короткий нож.

– Ну что, воин, делать будем? – Он усмехнулся, сразу напомнив блатняка Золотарёва. У этого тоже верхний клык украшала золотая фикса.

Воронцов мгновенно оценил ситуацию: ввязываться с ними в разговор – дело не только бесполезное, но и опасное. У другого, того, пожилого, с бегающими глазами, наверняка тоже есть нож. С двумя ему не справиться. Они уже заняли позицию: один спереди, другой немного правее и сзади, потому что свой нож он держит в правой руке.

– Сумку! Сумку давай! Ну? Что смотришь? Или не понял команды? – Говорил молодой. Пожилой угрюмо молчал. Но командовал операцией, видимо, всё же именно пожилой. Он стоял в десяти шагах позади и немного правее с каменным лицом и, держа руки в карманах ладного осеннего пальто, терпеливо молчал. Ждал.

Конечно, они сразу поняли, зачем на почту со стороны госпиталя бредёт, прихрамывая, лейтенант. Воронцов начал мучительно вспоминать, есть ли в канале ствола патрон. В бою он всегда досылал патрон в патронник, ставил пистолет на предохранитель и засовывал за ремень. Пистолет в бою должен быть всегда под рукой. Перед тем как грузить раненых, он сунул «вальтер» в сумку, а кобуру с ТТ сдвинул вперёд. Её вместе с ремнём сорвало взрывом. Но полевая сумка осталась. Она висела сзади. Есть ли там патроны вообще? Запасная обойма лежит в другом отделении. Достать её он не успеет. Но если достать деньги и швырнуть им, то наверняка появится время, чтобы зарядить пистолет.

– Ладно. Я всё понял. Ваша взяла. – Он нагнулся к сумке и, стараясь двигаться так, чтобы не насторожить их, расстегнул её и нащупал свёрток с тридцатками. Вытащил их и бросил его к ногам.

– Подними, – приказал, поблёскивая фиксой, молодой. – И брось ко мне вместе с ножом.

– Нож прошу оставить. Память о товарище. Думаю, понятно.

– Давай-давай, воин. Мы тебя тоже воспоминать будем.

Пожилой стоял неподвижно, как камень. Он, несомненно, опаснее. Этот – шестёрка. Возможно, у пожилого в кармане не нож, а что-нибудь посерьёзнее.

Воронцов нагнулся за свёртком, сунул нож за шпагат, которым была перетянута увесистая пачка «тридцаток» и кинул всё это в сторону фиксатого. Всё пока получалось так, как он задумал. Свёрток с ножом упал в траву в трёх шагах от фиксатого. Воронцов снова наклонился к сумке, взял её и перекинул через плечо, и, продевая голову под ремень, краем глаза заметил, как пожилой едва заметно кивнул своему напарнику. Тот шагнул к свёртку. И в это время Воронцов рванул из сумки «вальтер» и, щёлкнув предохранителем, навёл пистолет на пожилого.

– Всем лечь на землю! – закричал он и прицелился в лицо пожилого. – Руки из карманов! Ещё одно движение – и я стреляю!

– Слушай, что говорят, Сосок, – сказал пожилой, вытащил руки из карманов и послушно лёг на влажный песок.

Глядя на него, быстро улёгся на землю и его напарник.

Воронцов вначале подобрал свой свёрток. Прихватил и нож фиксатого и тут же с силой отшвырнул его в сторону реки. Пожилой лежал не шелохнувшись. Воронцов подошёл к нему и похлопал по карманам.

– Пусто, кум, – услышал наконец Воронцов его хрипатый голос. – Пусто.

– Лечь на спину! – скомандовал Воронцов.

– Я тебе, начальник, не Зойка штатная, – снова засипел тот, ощерив изъеденные чифирём чёрные зубы, и попытался усмехнуться. Но усмешка у него получилась жалкая, хотя и наглая.

Воронцов ворохнул его ногой и тут же отступил на шаг.

– Второй раз говорить не буду.

– Смотри, кум, стрельнешь, патруль прибежит. Как оправдаешься?

– Выстрел в упор не слышен и за десять шагов. И пальто у тебя подходящее. Материя плотная, дорогая, должно быть. Звук погасит надёжно.

– Понял-понял, начальник. Я пошутил.

Пожилой отвалился на спину, и Воронцов увидел присыпанный песком ТТ. Он бросил в воду и его.

– Сосок, или как тебя там, у тебя какой размер сапог?

– Ты что задумал? – завертел спиной фиксатый.

– Ну?

– Сорок третий.

– Вот и хорошо. Значит, меняемся. Снимай поживей.

Конечно, раздевать, а вернее, разувать пленного – дело последнее. Но Воронцов понял, что в сапогах, выданных ему госпитальным завхозом, он не дойдёт ни до почты, ни, тем более, до госпиталя. Когда-то эта пара солдатских кирзачей, возможно, и соответствовала сорок третьему размеру, но с тех пор, хорошенько послужив своему хозяину в дождь и снег, сапоги усохли, мысы курносо задрались вверх, сплюснулись и упорно не желали распрямляться, съёжившись таким образом размера на полтора.

– Ты что, боец? Желаешь разуть советского человека? Какой же ты после этого солдат?

– Снимай-снимай, советский человек… Я таких советских впереди себя в атаку гнал под автоматом.

– Зачем? – испуганно поинтересовался фиксатый.

– Смерть отпугивал. И от них, и от себя.

– А, понятно. Значит ты, начальник, фраерок битый. Штрафными, что ль, командовал?

Они обменялась вначале правыми сапогами, потом левыми.

– Ну что, в самый раз? Или жмут? А то давай заберу, а ты себе другие найдёшь.

– Ничего, сойдут, – смирившись с потерей, с готовностью согласился фиксатый. Перспектива возвращаться в город босиком его явно не радовала.

– Досчитайте до тысячи и вставайте. – Воронцов оттянул затвор «вальтера»: патрон лежал в стволе. – Не вздумайте встать раньше времени.

– Что ж ты, фраерок, на фронте сапогами приличными не разжился? А? Говоришь, командиром был. Вроде не самый последний начальник, а без сапог.

– А ты почему не на фронте? Ты, с такой харей! Почему? – И Воронцов одним прыжком подскочил к фиксатому и ударил ногой в подреберье.

Фиксатый скорчился от боли, выплюнул кровавый сгусток.

– Ты что! Контуженый?!

– Да. У меня четыре ранения и две контузии. Так что полчаса лежать всем смирно.

Воронцов засунул пистолет в карман, взял палку и пошёл к причалу. Вскоре стал виден буксир «Политотдел» с помятыми боками, обмётанными рыжей ржавчиной. Над ним кружили ослепительно-белые чайки. Он шёл по той же стёжке, которая привела его сюда. С палкой ему было легче. Но на сапоги он старался не глядеть. И ударил он фиксатого зря. Можно было просто уйти.

Почтовое отделение оказалось закрытым. На двери висела бумажка: закрыто до стольких-то часов. Воронцов взглянул на часы. До открытия оставалось пятнадцать минут. Вот

почему блатняки пошли за ним. Офицер, явно из госпиталя, идёт к почте – зачем? Посылки в руках нет. Значит, идёт отправлять почтовый перевод. А почта закрыта. Да и офицер попёрся к реке, в безлюдное тихое местечко…

О том, что случилось у реки, он не рассказал никому. Когда же Лидия Тимофеевна, принимая у него одежду, удивилась новым сапогам, он сказал:

– Снял с одного блатного. Обменял. Ваши, из обменного фонда, мне оказались всё же малы.

В ответ Лидия Тимофеевна рассмеялась:

– А ты, сынок, шутник! – И, принимая сапоги, спросила: – А где же оставил казённые?

– Я же сказал: обменял. Они мне немного жали.

Лидия Тимофеевна покачала головой, разглядывая добротные сапоги, пахнущие дорогим гуталином. Они ей нравились.

Глава третья

Фузилёр Бальк до середины октября пролежал в лазарете в небольшом городке на севере Германии. Госпиталь, приютивший их, искромсанных на Восточном фронте, был небольшим. Три палаты, каждая на двадцать человек. Все раненые – солдаты, от рядового до фельдфебеля. Все оттуда, где война оказалась особенно жестокой, и по отношению к ним, солдатам вермахта, и по отношению к противнику, и к гражданскому населению. Там, на Востоке, шла не просто война, там день и ночь, почти нескончаемо, вспыхивая то там, то здесь, длилась чудовищная бойня. И всем им, казалось, что оттуда невозможно вернуться живым, не искалеченным. Ещё год назад Бальк с ужасом и сочувствием смотрел на изувеченных войной, вернувшихся из госпиталей домой. Потерять руку или ногу для него казалось немыслимым. А теперь… В их маленьком госпитале никто никогда не разговаривал о России. Что о ней говорить? Многим из них не хотелось даже думать о бесконечной степи, угрюмых лесах и комариных болотах, о бездорожье и яростных атаках иванов, которые в последние месяцы совсем озверели.

Только однажды сосед по койке, шютце Нойман из подразделения горных стрелков, проснувшись среди ночи, вдруг сказал:

– Представляешь, они не берут пленных.

Нойман неподвижно смотрел в потолок. Его слышал не только Бальк. Ноймана привезли из-под Ленинграда. Он получил несколько пуль в обе ноги. Многим в эту ночь не спалось. Где-то на побережье хлопали зенитки и выли сирены противовоздушной тревоги. В любую минуту могли войти в палату дежурные санитары, включить свет и объявить о срочной эвакуации в бомбоубежище.

Бомбоубежище построили недавно военнопленные иваны из лагеря, расположенного неподалёку. Оно состояло из нескольких блоков, с вентиляцией и освещением, с деревянными лежаками, точь-в-точь такими, какими оборудовались на Востоке землянки и блиндажи.

Никто не ответил Нойману. Но все поняли, что он имел в виду. Их раны потихоньку заживали. После лазарета почти всех ждал отпуск на родину. А после него – снова Россия. Проклятая Россия. Проклятый Восточный фронт, хуже которого в этой кромешной войне, кажется, уже ничего нельзя было придумать…

Они, признаться, тоже неохотно брали пленных. Особенно в последнее время. Иваны не поднимали рук даже тогда, когда положение было уже абсолютно безнадёжным. Конечно, были и перебежчики. Но если первые вызывали в них ярость, то вторые чувство брезгливости. Для того чтобы спустить курок в ближайшем овраге, а значит, и не вести пленных далеко в тыл, в одинаковой мере подходило любое из этих чувств.

Через несколько дней после операции, во время которой хирург вытащил из тела фузилёра Балька сплющенную пулю и множество мелких осколков, по радио сообщили, что на Восточном фронте германские войска начали крупнейшую за всю войну операцию. Лучшие танковые дивизии и корпуса групп армий «Юг» и правого крыла «Центр» в эти минуты наносят сокрушительный удар по обороне русских на фронте от Орла до Белгорода, самолёты люфтваффе постоянно в воздухе. Среди выведенных из строя машин много средних танков Т-34 и тяжёлых КВ. Уже удалось сокрушить первые линии обороны противника. Трофеями ударных частей вермахта и СС стали сотни русских танков, реактивных пусковых установок, тысячи орудий и миномётов. Колонны пленных в настоящее время движутся в германский тыл. В них сотни и тысячи солдат и офицеров армии противника.

И Арним Бальк, и многие другие раненые, кто успел изодрать в окопах на Востоке не один мундир, слушали бодрые сообщения диктора и заявления фюрера внимательно, стара-

ясь при этом уловить подтекст. Нет ли в нём тревожных ноток неопределённости. Они-то знали, что радио и газеты Третьего рейха существуют не для того, чтобы сообщать людям правду. Зачастую задачи Министерства пропаганды заходили в абсолютное противоречие с реальным положением на фронтах.

– Наши «шутки» конечно же разутюжат любую цель, – говорили в курилках те, кто уже не первый раз попадал в госпиталь. – Но если иванов бьют в колоннах, то одно из двух: либо они отходят, а значит, вот-вот займут новый рубеж обороны, либо подтягивают резервы, что ещё хуже.

– Иванов всех не перебить! Они – как саранча!

– У фюрера тоже есть резервы!

– И где же они? Когда нас везли сюда в кровавых бинтах, я что-то не видел наших резервов! Или, может быть, эшелоны со свежими дивизиями резерва были так хорошо замаскированы, что мы их просто не заметили?

– Ты не в ту сторону смотрел, старина. Резерв фюрера лежал на полках рядом с тобой. Не отчаивайся, резерв есть.

– Да, похоже, мы – последний резерв Германии.

На такие шутки отвечали мрачным молчанием или злобным смешком.

– Ещё одного Сталинграда наша армия не выдержит.

Слово «Сталинград» действовало магически. Кто произнёс его, они уже не могли вспомнить. Казалось, оно само прозвучало в плотно набитой перебинтованными телами тесной курилке.

– Уже подчищают тылы. Всех – под метлу! Разве вы не видели, кого прислали с последним пополнением? Больные очкарики и дети! Какие это солдаты? С такими солдатами разве можно наступать?

– Ничего страшного. Все должны воевать. Долг перед родиной обязывает.

– Но дети…

– Выходит, русские сильнее нас?

– Русские не одни. Англичане, американцы, французы, югославы, греки, новозеландцы, канадцы, австралийцы! Все – против нас! Весь мир! Почему так?

– А я говорю, всё дело в том, кто сидит в окопе. Там, на передовой. Нет уже тех парней, с которыми мы шли к Москве.

– Да, их уже нет. Ты прав, старина.

– Вот я и говорю: всё началось там, на Востоке! Там мы нашли все наши несчастья. И они теперь, как чума, как тиф, перекинулись и на побережье, и в Африку, и на Балканы.

– Да, старина, везде туго.

– Россия – проклятое место. Это – заколдованная страна.

– Крестьяне живут там почти в нищете. Вы видели, какие у них жилища? Дети голодные. А ночью они уходят в лес, в партизанские отряды и жгут наше имущество, взрывают мосты, портят связь. Значит, им нравится так жить!

– Рабы. Россия – страна рабов. Они служат большевикам и жидам, что, по сути дела, одно и то же. И к этому привыкли. Они уже не замечают своей нищеты, убожества своего жилья, одежды, скудной еды.

– Те не отнимали у них последнего. Вот в чём причина.

– Просто – рабы. Примитивный народ. Примитивный ум, не понимающий Бога. Низкие потребности.

– Пустое. Вы болтаете о пустом. Сами себя разжигаете тем, чем нас разжигали в тридцать девятом и сорок первом. Россия – великая страна. И нашей армии она не по зубам. Вы говорите, примитивный народ, рабы. А кто же создал величайшую культуру? Их музыка, литература, живопись, архитектура на уровне европейской и даже выше.

– Помолчи, Курт. Мы не знаем, кто прибыл вчера и позавчера…

Они какое-то время курили молча. Но всех волновало одно. Уже никто не подозревал друг друга в пораженчестве. И только иногда такие разговоры прерывал раздражённые голос какого-нибудь пожилого фельдфебеля, воевавшего ещё в Первую мировую войну, который советовал им, соплякам, помолчать и готовиться к выписке прямой дорогой назад, на Русский фронт. Потому что все другие дороги им, побывавшим там, заказаны.

– Сталин дал своим иванам хорошее оружие, – снова начиналось всё сначала. – Ты попадал под атаку их «катюш»? А я попадал.

– Да, танкисты говорят, что в открытом бою с их новыми тяжёлыми танками лучше не встречаться. Даже на Т-34 они установили новую, более мощную пушку.

– Наши «тигры» и «пантеры» значительно лучше!

– Посмотрим. Сейчас они дерутся там, в русской степи. Через день-другой всё решится.

– Когда под Сталинградом рвали на части Шестую, до самого конца шли бодрые сообщения. И чем это кончилось? Правда оказалась ужасной.

– Да, этого не забыть…

Боли в груди ещё донимали Балька. Доктор сказал, что, возможно, все осколки разрывной пули извлечь не удалось. Некоторые из них величиной со спичечную головку и даже меньше, вросли в ткани, и лучше их не трогать. Другое дело, если они начнут беспокоить… Бальк всё понял: доктор оставлял ему шанс в любой момент обратиться к врачу. Доктор был пожилым и добрым человеком. Он понимал всё, возможно, многое, совсем не так, как понимали они. Другую пулю, деформированную от удара в плечевую кость, он подарил Бальку на память. Теперь пуля, вынутая из его тела, лежала в ящике тумбочки среди письменных принадлежностей. Однажды он показал её Нойману. Тот повертел её, взвесил на ладони и сказал:

– Калибр семь – девяносто два! Арним, ты что, попал под огонь своих?

– Нет. Мы отбивали атаку. Я стрелял из schpandeu. Со мною рядом был ротный командир. По пулемёту вёл огонь снайпер. Он многих положил. Ребята потом рассказывали.

– Но пуля-то наша.

– Унтер-офицер Байзингхоф из нашего взвода всегда таскал с собою русский ППШ.

– Ну да, хорошая штука. Ты хочешь сказать, что и в тебя иван пальнул из трофейной винтовки.

– Возможно. Но тогда, тем более, обидно.

– Иваны палят по нас из всего, что стреляет. – Нойман поправил вначале одну, а потом другую затёкшую ногу. Обе ноги были старательно упрятаны в гипсовые коконы, похожие на зимний камуфляж, надетый поверх бриджей. – Однажды мы стояли в небольшой деревушке на берегу Угры. Так называется их река. Дело было недалеко от Юхнова. Это – между Смоленском и Москвой. Мы уселись делить сухой паёк. И вот, представь себе, сидящий вокруг горы консервных банок взвод. И вдруг в эту гору падает русская Ф-1 в чугунной оболочке. Четверых парней мы похоронили сразу. Восьмерых, раненых, отволокли в медпункт. Один тяжёлый. Вряд ли он выжил. Во всяком случае, к нам в роту он уже не вернулся. А меня даже не задело. И что оказалось? Гранату бросил мальчишка. Его тут же поймали. У него в кармане была ещё одна граната. Он не успел вставить капсюль-воспламенитель. Он хотел, видимо, то ли себя взорвать, то ли ещё одну во двор бросить.

– Откуда у них такой фанатизм?

– Они защищают родину. Свои семьи. Жилища. Землю.

– Ну, положим, земля им не принадлежит. Земля в России колхозная. У русских крестьян во владении только один огород. Совсем маленький. У них нет понятия: моя земля. Того корневого чувства, которое в народе всё скрепляет.

– Ты ошибаешься. Иначе бы они не сражались до последнего патрона.

– Так вот, потом мы узнали причину, почему тот мальчишка так поступил. Днём раньше того случая какой-то ублюдок из нашего взвода изнасиловал сестру того маленького русского. Вот он и задумал отомстить. И отомстил. Мы потом выяснили, кто это был. Командир роты приказал помалкивать, хотя сам ему потом спуску не давал. Поручал самую грязную работу. Во время взрыва гранаты его почти не задело. Отделался лёгкими царапинами. За него расплатились другие. Что и говорить, этого маленького русского ивана можно понять. Как бы ты сам поступил, если бы твою сестру или девушку…

– Жаль… – Бальк задумчиво покачал головой.

– Ты о чём? – Нойман снова, поморщившись, поправил свои ноги, стараясь лечь набок.

– Жаль, что тот русский мальчик не успел бросить вторую гранату, – неожиданно сказал Бальк.

Они не разговаривали несколько суток.

В августе стали поступать тревожные сообщения. Оставлен Белгород, Орёл, Хотынец… При упоминании Хотынца и Жиздры фузилёр Бальк вздрогнул. Значит, позиции его полка прорваны, и что с его товарищами, защищавшимися на Вытебети, неизвестно.

– Ничего нельзя понять, – пожимали плечами раненые, сгрудившись у радиоприёмника, стоявшего на столе рядом с портретом фюрера.

– Эти болтливые кретины из Министерства пропаганды…

– Ничего не понять.

– Наступаем мы или уже нет?

– Скоро узнаем.

И действительно, вскоре санитарные эшелоны, прибывающие с Востока в Германию, начали привозить тысячи раненых, искалеченных и умерших в дороге. Эшелоны прибывали из-под Харькова и Чернигова. Раненых сортировали и разбрасывали по госпиталям. Несколько человек привезли и в их корпус.

– Они постоянно бросают в бой свежие части! – рассказывали побывавшие в недрах «Цитадели».

– Нашу Сто девяносто восьмую просто вышвырнули из Белгорода!

– «Восемь-восемь», которую мы прикрывали, подожгла пять русских танков! Шестой сравнял с землёй все три пулемёта и разбил первым же осколочными снарядом нашу противотанковую пушку. Все артиллеристы погибли. Мы даже не смогли похоронить их. Русский тяжёлый танк искромсал позицию осколочными снарядами, изутюжил гусеницами. Трупы артиллеристов невозможно было отделить от земли.

– Там был настоящий ад.

– Мы заняли траншею в полукилометре западнее и нам объявили, что, если мы и здесь не удержимся, расстреляют каждого десятого. Просто построят и – каждого десятого…

– Придержи язык, парень, – сказал кто-то из раненых новоприбывшему.

– Да, за это можно загреметь.

– Самое худшее, что может с нами произойти, нас снова отправят на Восток.

– Так оно и будет, дружище. Наши дивизии стоят там.

– К тому же среди нас нет эсэсманов или «цепных псов»[2]. Ведь нет? Их лечат в других госпиталях. Значит, никто не донесёт.

– Я слышал, что говорили о наших делах офицеры, – рассказывал другой раненый. – Мы дрались две недели. Ни дня отдыха. Даже ночью нас поднимали по тревоге. В тылу тоже не было покоя. Партизаны. Они нападали на наши обозы, в том числе на санитарные.

[2] «Цепными псами» в вермахте называли военнослужащих немецкой полевой жандармерии. Жандармы носили на груди металлические бляхи-горжеты с орлом и надписью. Бляхи крепились на массивных цепях.

Так вот, через две недели боёв в нашей Тридцать девятой дивизии оставалось всего триста штыков при шести офицерах. И я это слышал вечером, а утром нас пополнили шестнадцатью папашами из обоза и снова бросили в бой.

– Это был ад. Ад. И больше ни с чем это сравнить нельзя.

Вечером Нойман произнёс первую фразу за неделю. Она была адресована Арниму Бальку. Она оказалась короткой, и после неё снова долго можно было молчать.

– Арним, дружище, хорошо, что мы туда не попали. – Нойман произнёс это тихо, почти неслышно, одними губами, так что понять его мог только Бальк, лежавший на соседней кровати.

Раненые, прибывавшие в последующие дни, рисовали унылые картины отступления. Потом заговорили о «Линии Вотана». Появилась надежда, что русских остановят на линии рек Днепр и Десна. Бальк слушал и вспоминал. Однажды, когда воинский эшелон, который вёз их к фронту, проезжал по мосту возле небольшого городка, он увидел крутой правый берег, возвышавшийся над округой на несколько сот метров. Какая великолепная позиция, подумал он тогда. Но кто её теперь будет удерживать? Лучшие дивизии поглотила «Цитадель». Все так говорят, даже офицеры. Первоклассные и хорошо вооружённые дивизии. Такую мощь! Бальк вспомнил леса и перелески, заполненные бронетехникой и войсками. И они не смогли опрокинуть русских? И оказались опрокинутыми сами. Тогда какая же сила напёрла с Востока? И, судя по всему, она не исчерпала себя до конца, а значит, будет продолжать атаковать. Вырвавшиеся из этого ада подтверждают, что русские постоянно наращивают силу удара, вводят в дело новые и новые резервы. Оставалось надеяться только на то, что наступление русских на каком-то этапе всё же выдохнется. Так в своё время произошло под Москвой и под Сталинградом. Правда, тогда германским войскам пришлось дорого заплатить за то, чтобы иваны в конце концов остановились и начали закапываться для обороны.

Бог мой, думал Бальк, Нойман сказал правду. Но что будет с Германией? С нашими семьями? Неужели никто не думает об этом? Гитлер думает обо всём. И он конечно же не допустит катастрофы. Германия победит в этой войне. Хотя остановиться надо было давно, ещё пять лет назад на присоединении Судетской области[3].

Рана уже затянулась, но ещё гноилась через дренажную трубку. Запах гниющей плоти временами донимал Балька. Но это был свой запах. К нему он уже привык. Раненые быстро привыкают к своему состоянию. Особенно когда кругом такие же бедолаги, а то ещё и похуже. Некоторым, конечно, досталось крепко. Бальку повезло. По крайней мере все части тела целы.

Прошло ещё две недели. Наступил сентябрь. Ветер всё ещё дул вдоль моря. Тёплый, свежий, пахнущий водорослями и мокрыми скалами. И однажды Бальку сказали, что через несколько дней его выпишут.

И действительно, спустя два дня рядовой фузилёрной роты Бальк, одетый уже не в больничную пижаму, а в полевую форму, стоял на площади, вымощенной серой брусчаткой. В нагрудном кармане кителя рядом с солдатской книжкой лежало отпускное свидетельство. Перед ним возвышалось здание железнодорожной станции. За плечами торчал ранец с кожаным верхом, в котором лежали солдатские принадлежности и несколько пакетов со

[3] После Первой мировой войны Судетская область отошла к Чехословакии. На её территории проживало три с половиной миллиона этнических немцев. После прихода фашистов к власти Гитлер неоднократно заявлял о притеснениях соотечественников со стороны чехов в этой области. Приводились цифры: в Судетской области среди немецкой части населения самый высокий в Европе процент по числу самоубийств и по детской смертности. 30 сентября 1938 г. в Мюнхене состоялось соглашение между Великобританией, Францией, Италией и Германией о передаче Судетской области в состав Германии. Соглашение подписали Невилл Чемберлен, Эдуард Даладье, Бенито Муссолини и Адольф Гитлер. Вскоре в Судеты были введены германские войска.

свастикой. Пакеты Бальк получил сегодня утром после построения, когда их, выписанных из лазарета, кого обратно на фронт, а кого в двухнедельный отпуск на родину, торжественно поздравили с выздоровлением, напомнили о солдатском долге перед рейхом и фюрером. Когда речи утихли, красивые девушки, видимо, из штата госпитальной обслуги, вручили им всем подарки. Из пакетов приятно пахло. Потом Бальк внимательно изучил *подарок от фюрера*: в пакетах была колбаса, сыр, ветчина, несколько банок рыбных и мясных консервов. А ещё – две пачки сигарет «Юно».

Возле сквера стоял наряд жандармов. Проходя мимо, Бальк отдал честь. Надменные дармоеды, тыловые крысы, подумал он. Но вступать с ними в конфликт не стоило, это могло закончиться самой серьёзной неприятностью. Когда он шёл к вокзалу, наблюдал такую сцену. Двое отпускников, видимо, хорошенько подвыпившие, фронтовики, потому что за их спинами торчали стволы карабинов К98k с потёртыми прикладами и ремнями, о чём-то спорили с жандармами. Те остановили солдат посреди дороги, проверяли документы, при этом задавали какие-то вопросы. И сами вопросы, и тот тон, каким они задавались, как видно, раздражали отпускников. Те всё больше и больше распалялись. Дело явно шло к серьёзному конфликту. Случись такое на передовой, где-нибудь в окопах на Десне или на Вытебети, уже давно вспыхнула бы драка. Но здесь, в тылу, жандармы, эти проклятые шупо, властвовали безраздельно. Жандармы громко спрашивали. Отпускники громко отвечали. Один из них, с искажённым лицом вдруг начал выкрикивать оскорбления. И тогда старший патруля разорвал отпускное удостоверение и бросил под ноги кричавшего. Солдат мгновенно замолчал, побледнел, вытянулся, резко повернулся кругом и зашагал в сторону берега. Его товарищ, выхватив из рук жандарма листок со своим удостоверением, которое, к счастью, уцелело, побежал следом. Видимо, они прибыли сюда на катере или пароме. Солдаты исчезли возле пирса и больше не появлялись.

Жандарм козырнул в ответ и вдруг окликнул его, Балька, всё это время с любопытством праздного зеваки наблюдавшего происходившую сцену. Пришлось вытаскивать документы. Жандарм возвратил солдатскую книжку и лист с печатью, подтверждающий то, что он следует в двухнедельный отпуск в город Баденвайлер, где проживает его семья, и что срок отпуска заканчивается такого-то числа октября месяца 1943 года. Возвращая документы, он сказал:

– Вам следует постричься, шютце Бальк. Парикмахерская находится в двух шагах отсюда.

Какая сволочь, испуганно и растерянно думал Бальк. Он шёл в сторону вокзала и трясущимися руками запихивал в нагрудный карман френча документы. Сегодня на построении ему вручили долгожданный чёрный знак «За ранение»[4]. Быть может, именно он и помог ему благополучно разминуться с жандармами. Во всяком случае, шупо, рассматривавший его документы, несколько раз скользнул взглядом по его чёрному знаку на отутюженном стареньком мундире.

В парикмахерскую Бальк не пошёл. Не позднее завтрашнего дня он будет дома. А дома у него есть прекрасный мастер – мама. Она всегда стригла его, с возрастом меняя причёску, делая её сложнее и изысканнее. Папу она тоже стригла сама. По этому поводу у неё была семейная шутка: «Своих баранов я буду стричь сама!» Да и денег у Балька на парикмахера не оставалось. Он рассчитал всё. Маме он решил купить хороший подарок. Вообще-то отпускники с Восточного фронта подарки домой не покупали в магазинах, их везли из России в изобилии. Россия для германских солдат вот уже третий год была тем огромным магазином,

[4] В вермахте знак «За ранение» существовал в трёх степенях: чёрный – за одно ранение; серебряный – за несколько ранений; золотой – за пять и более ранений, а также за увечье, которое привело к полной потере дееспособности или утрате мужского достоинства.

полевым складом, где можно было взять всё, что пожелаешь, выбрать то, что больше тебе подходит, что может понравиться твоим родственникам или девушке. Но так сложилось, что домой из России он ехал через лазарет. Ему не поменяли даже мундир. Прачки выстирали китель и бриджи, а потом хорошенько заштопали нитками. И нитки, и штопка были идеальными, и то, что мундир прошёл через кропотливые руки штопальщиц, почти незаметно.

На перроне стояли солдаты. Курили, весело переговаривались. Судя по поношенной, но тщательно приведённой в порядок одежде, фронтовики. Видимо, тоже отпускники, подумал Бальк и невольно оглянулся: жандармы стояли всё там же и не обращали ни на Балька, ни на ожидавших поезда никакого внимания. Был бы жив унтер-фельдфебель Штарфе и окажись он здесь, подумал он, чёрта с два бы вы посмели с нами так разговаривать. Но в следующее мгновение он вдруг представил, что жандармы точно так же, как тех двоих, сошедших на берегу с какой-то посудины и на радостях подвыпивших в первой попавшейся на их пути забегаловке, остановили бы и их со Штарфе. И что бы сделал против них пулемётный расчёт МГ-42? Пожалуй, ничего. Точно так же, как тот несчастный, Штарфе отматерил бы их и сделал правильный поворот кругом и, убитый внезапным несчастьем, зашагал бы назад, к пристани, пока не отчалила от берега посудина, которая доставит его назад, в свой полк, в свою роту, в свой взвод, где к тебе относятся по-товарищески и где из-за пары стаканчиков шнапса не будут рвать документы. Да, с этими откормленными кабанами можно разговаривать только в развёрнутом строю. Но там, в окопах, их нет. Ни одной жандармской бляхи за всё время пребывания на передовой он не видел. Это называется: каждый на войне выполняет свою работу. Что и говорить, непыльная работёнка у этих парней. Вон какие загривки отъели. Здесь не заболеешь малярией, не покроешься фурункулами, и здесь тебя не будут пожирать стада вшей и оравы блох. И здесь не поймаешь лбом пулю, как поймал её Штарфе.

На всякий случай он повернул в сторону улицы, где находилась парикмахерская. Но, зайдя за первый же дом, перешёл на другую сторону и, немного выждав и пристроившись к группе солдат и провожавших их женщин, вернулся на перрон.

Как хорошо, что он едет домой!

Бальк закурил. Врач запретил ему курить. Потому что разрывной пулей оказалось задето лёгкое. А это серьёзно. Правда, не так серьёзно, как ночная атака русских, пусть даже и без артподготовки, и ограниченными силами, но всё же – атака, и именно на твоём участке, где твой schpandeu, куда ни крути, главное действующее лицо. А ты, пусть даже второй номер, не просто при нём… Так что можно и покурить. Ему подарили целых две пачки «Юно»! По фронтовым меркам – целое состояние. Всё-таки фюрер Великой Германии о них, своих доблестных солдатах, заботится достаточно хорошо.

Да, теперь думал Бальк, когда я вернусь в свою роту, старик обрадуется. «Ты вернулся, Бальк! – скажет он, глядя из-под своих кустистых бровей, как смотрит на солдат, которых особенно ценит. – Ты лучший солдат фюрера на всём этом чёртовом фронте! – скажет он и похлопает его по плечу. И тут же всучит обмотанный лентами тяжёлый schpandeu и скажет: – Он давно ждёт тебя, сынок. Ты достоин его». И прикажет в течение двадцати четырёх часов подобрать себе второго номера из нового пополнения. Ветеранов он ему в расчёт не даст. Да ветераны и сами не пойдут к нему. И вовсе не потому, что он слишком молод, чтобы заставлять солдата, воевавшего под Вязьмой и Калугой, без конца, когда это нужно и когда не нужно, протирать затвор и приёмник пулемёта, набивать патронами ленты и следить, чтобы в патронную коробку не попадал песок. Просто те, кто побывал в боях, хорошо знают, что такое пулемёт в бою. У пулемёта слишком много врагов, которые тут же бросаются на него: миномёт, противотанковое орудие прямой наводки, снайпер, крупнокалиберный пулемёт противника. А в последнее время иваны наладились стрелять по пулемётным расчётам из своих крупнокалиберных противотанковых ружей. От такой пули со стальным сердечником невозможно укрыться даже за штабелем мешков, наполненных песком или землёй.

Бальк курил, прислушивался к реакции своих лёгких на табачный дым. Под горлом накапливался ком, он щекотал и даже в какой-то мере развлекал, но не беспокоил. Рядом стояла группа отпускников с нашивками мотопехотной дивизии «Великая Германия». Эти парни и здесь, на перроне, чувствовали своё особое положение. Разговаривали громко и так же громко и, как показалось Бальку, нарочито заразительно смеялись своим шуткам. Вокруг них были свалены целые горы чемоданов, чемоданчиков и разнокалиберных баулов. Как будто не чемоданы вовсе, а настоящие повозки выкатились на перрон и образовали затор, сгрудившись в беспорядке вокруг людей, беспечно стоявших там и тут в ожидании эшелона. Целые обозы! Что ж, хорошее настроение было логичным и понятным. Солдаты ехали с фронта. Они возвращались из России. «Великая Германия», если верить сводкам, успешно дралась где-то на Юге, под Харьковом в районе Ахтырки. Судя по багажу, в это охотно верилось. Но почему их занесло сюда, на север? Видимо, здесь родина этих счастливчиков, догадался Бальк. Последняя пересадка перед домом.

Он пускал перед собой синие кольца дыма. Этому занятию его научил унтер-фельдфебель Штарфе. Удивительное дело, с унтер-фельдфебелем Штарфе он воевал всего ничего, а вспоминает его чаще, чем кого бы то ни было. Обаяние личности? Бальк вспомнил эту фразу, суть которой его когда-то интересовала настолько, что он проштудировал несколько книг и погрузился в философские трактаты, которые нашёл в университетской библиотеке на самых дальних и укромных полках. Всё, что он узнал и смог постичь из своих университетских штудий на эту тему, менее всего подходило к его бывшему первому номеру. Но тем не менее Бальк испытывал к своему погибшему товарищу и наставнику именно эти чувства. И тут ничего не поделаешь, в конце концов понял он. Всё надо вначале пережить. Потом придёт осмысление. В том числе и всего того, что мы натворили там, на Востоке. И что ещё натворим и с Европой, и с Германией.

Сине-сиреневые кольца-облака расплывались перед ним. Отдалялись на полметра, там их подхватывал ветер, вырывающийся из-за ближнего пакгауза. И вдруг в самом центре очередного кольца Бальк увидел несколько точек. Точки казались неподвижными, но они увеличились с каждым мгновением. Вот уже можно было разглядеть их боковые отростки. Он мгновенно понял, что это. И тут же, как неизбежное продолжение реальности, на берегу возле пирса захлопали зенитки.

– Воздух!

– Самолёты!

– В укрытие! Скорей! Скорей!

Всё произошло так быстро, что даже он, не единожды переживший налёты русских пикирующих бомбардировщиков и три раза попадавший под штурмовку летающих танков Ил-2, не успел найти лучшего укрытия, чем лечь прямо у края платформы на заплёванную землю, куда сметали всякий мусор с подошв пассажиров. Он уткнулся носом в эту спасительную благодать земли, чувствуя слева, откуда появились самолёты, высокий косяк бетонной плиты. Она-то его и спасла. Взрывная волна и осколки первых бомб скользнули по платформе и, сметая не успевших укрыться и их багаж, чугунные каркасы лавок, выкрашенные в чёрный цвет, и белые гипсовые вазоны с цветами, пронеслись над его затылком и зашлёпали по деревьям примыкавшего к вокзалу сквера.

После первой волны самолётов показалась вторая. Бальк понял, что их удар направлен на станцию. В тупике стояло много вагонов и несколько паровозов под парами. Все они были разбиты сразу же. Оттуда валил пар и чёрный дым мгновенно вспыхнувшего пожара. Загорелись вагоны и цистерны, и с каждой минутой они разгорались всё сильнее и сильнее. На путях, среди разбросанных шпал и вывернутых, искорёженных и забранных в небо рельсов метались какие-то люди. Видимо, охрана и машинисты разбитых паровозов. Бальк понял, что надо делать, чтобы уцелеть. Он вскочил на ноги, перемахнул через низкий пара-

пет, отделявший перрон от сквера, и метнулся в сторону пустыря. Там виднелись глубокие балки, похожие на противотанковые рвы, которые он видел в России. Отличие их от русских противотанковых рвов заключалось лишь в том, что эти давно заросли кустарником и дубами. Пустырь они вряд ли будут бомбить. Только бы успеть. В такие мгновения солдата спасает чутьё, то, что он приобретает за месяцы окопной жизни. Если пуля или осколок не прерывают его опыт. Включается некий неведомый доселе мотор, который направляет солдата туда, куда нужно. Как правило, мотор действует безупречно. Скорость – максимальная.

– Куда? – заорал жандарм, выскочивший откуда-то сбоку. Кажется, это был один из тех, кто остановил его час назад и приказал постричься. Бальк оттолкнул его руку и метнулся в сторону от домов и тротуаров. Жандарм не сидел в окопах под Вязьмой и Жиздрой. У него нет мотора выживания. Он и под бомбами думает о долге. Такие, если попадают на фронт, живут до первого боя.

Самолёты приближались стремительно. Теперь уже более организованно захлопали зенитки на побережье. Но тут же их стрельба потонула в оглушительном грохоте бомбовых разрывов, сливавшихся в сплошной рёв. Значит, бомбят и причал, и госпиталь, и концлагерь. Надо успеть добежать до оврага. Ноги его несли так, как не носили во время тренировок, когда старик бегал за ними с ореховой палкой с намерением огреть каждого, кто споткнётся или окажется менее проворным, чем остальные солдаты его роты и, главное, он сам. Вот уже пошли кусты. Они хлестали его по лицу и рукам. Впереди бежал ещё кто-то. Бежавший впереди тоже, видимо, обладал опытом выживания. У него тоже заработал тот спасительный мотор. Он бежал именно туда, в теснину оврага, переходящую в ущелье. По дну ущелья тёк ручей. Они не успели добежать до отвесной скалы, под которой можно было укрыться, как замелькали тени самолётов, позади и впереди загрохотало так, что земля содрогнулась, и сверху посыпались мелкие камни и земля, какой-то хворост и куски досок. Бежавший впереди упал. Бальк машинально, как не раз делал это в бою, подхватил его, поволок вперёд.

– Скорее! Скорее! Туда!

Товарища нельзя бросать в трудную минуту. Потому что именно он спасёт тебя, когда в переплёт попадёшь ты.

Наконец они доковыляли до неглубокой пещеры и упали на сухой щебень, вымытый водой, которая в ручье, видимо, поднималась после ливней и затопляла пещеру. Взрывы, казалось, приближаются к ним. Сверху сыпались камни. По ущелью потянуло толовую гарь и чёрные струи дыма. Где-то неподалёку полыхал пожар. Одна из тяжёлых бомб разорвалась дальше, в глубине ущелья. Их обожгло взрывной волной, которая пронеслась над ручьём, как смерч, мгновенно испарив всю воду. Они, оторванные от всего мира, обхватили друг друга руками и некоторое время сидели так, прижавшись телами к сырым камням пещеры. Именно пещера спасла их от взрывной волны и камней, продолжавших время от времени обрушиваться сверху.

Но наступил конец и этому ужасу. Самолёты улетели. Кажется, они очнулись не сразу. Первым в себя пришёл Бальк. Он огляделся и увидел, что на него испуганно смотрит девушка. Ну конечно, мгновенно смекнул он, пахнет от неё, не так, как пахнет от солдата. И как он сразу не сообразил?

– Нам повезло. – Он попытался улыбнуться.

Кажется, девушка ещё никак не могла прийти в себя. Зрачки её глаз были расширены. Бальк знал, что такое случается с контуженными.

– Всё в порядке. Вставай. – Он подал ей руку.

Но девушка продолжала неподвижно сидеть, вжавшись своим тонким тельцем в нишу пещеры.

– Туда не стоит пока выходить. – Бальк кивнул вверх. – Я знаю, янки бросают бомбы с замедленными взрывателями. Они срабатывают через несколько минут, а иногда и часов. Очень коварные.

После боя Бальку всегда хотелось есть. Только унтер-фельдфебель Штарфе понимал его. «Это у тебя нервное, парень, – объяснил он ему однажды его недуг. – В таких случаях лучше выпить. Но ты не пьёшь. Это плохо». Конечно, плохо, подумал Бальк, потому что вот сейчас он просто достал бы фляжку и сделал несколько глотков. Но он не пил. От спиртного его выворачивало. Как от вида и запаха трупов, когда он их увидел в первый раз. Тогда блевал весь шестой взвод. Все, кроме унтер-фельдфебеля Штарфе и ещё троих ветеранов. Теперь Бальк не знал, как объяснить этой девушке, случайно оказавшейся рядом с ним, что у него такая болезнь. Есть хотелось всё сильнее и сильнее.

– Да, лучше побыть пока здесь, – сказал он. – Всё равно состав не подадут, пока не расчистят пути и не восстановят стрелки.

Он снял ранец и начал расстёгивать его. Из ранца вкусно пахло колбасой и свежим хлебом. Хлеб, казалось Бальку, пах ещё приятнее, чем колбаса. Может потому, что он напоминал ему родину. Батон был завёрнут в тонкую пергаментную бумагу, которая вся промокла от масла. Всё это он хотел привезти домой нетронутым. Другого подарка для матери у него не было. Но голод есть голод. Да и девушку, с которой ему Бог послал пережить эту бомбёжку, надо было хоть как-то поддержать.

– Хочешь? – Бальк вытащил хлеб. Он знал, что с продуктами сейчас в тылу гораздо хуже, чем на фронте. – Давай, усаживайся, угощайся.

И только теперь Бальк увидел ссадину на её ноге. Кровь залила разорванный чулок и уже засохла. Он знал, что кровь засыхает быстро. Только у мёртвых она не засыхает долго. Он вытащил индивидуальную аптечку, разорвал упаковку бинта.

– Надо перевязать.

– Не надо, – ответила она по-русски, отчего он едва не выронил из рук аптечку.

– Ты что, русская? – И тут он увидел нашивку на её простеньком сером платье с буквами: «OST». – Бог мой! Да ведь ты русская!

– Я сейчас уйду. Я работаю здесь, рядом. – Она пыталась говорить по-немецки.

– Да-да, – кивал Бальк.

Теперь, когда он узнал, кто она… И что, остановил он себя, я должен тащить её в полицейский участок? Сдать первому патрулю? Она ведь не сбежала. Просто прячется от бомбёжки. Так же, как и он. Что тут такого? Но сейчас, когда янки наделали столько бед, в этих тонкостях, пожалуй, никто разбираться не станет. Могут, под горячую руку, эту испуганную беглянку расстрелять, как разведчицу, подававшую сигналы самолётам. Сейчас набежит полиция, гестапо. Начнут разбираться, искать виновных, не принявших своевременных мер и прочее… И всё свалить на эту беднягу.

Бальк вздохнул, посмотрел на русскую и принялся резать колбасу и хлеб. Сделал два хороших бутерброда. Один протянул русской. За другой торопливо принялся сам.

Девушка какое-то время послушно держала хлеб, на который Бальк положил несколько добрых ломтей колбасы, потом, сглотнув, медленно покачала головой и протянула бутерброд назад.

Такие, как эта русская, всегда нравились Бальку. Красивая девушка, подумал он. Но ведь это не просто девушка, а – русская. Бальк знал, что ему, германскому солдату, арийцу, грозит за связь с русской, с неарийкой. Если те же шупо застанут их здесь, в пещере, то могут приписать ему именно это – связь с русской. Да плевать я хотел, в следующее мгновение подумал Бальк и уже теплее взглянул на девушку.

– Ешь, ешь, – сказал он и улыбнулся ей. – Угощайся.

Она откусила краешек и начала неторопливо жевать. И он увидел, какие красивые у неё руки. Таких красивых рук он ещё не видел ни у одной женщины. Он снова улыбнулся и отвернулся, чтобы не смущать её и не волноваться самому. Он попытался целиком переключиться на бутерброд, но это оказалось не так-то просто.

Пуля неслась над землёй, густо изрытой окопами и снарядными воронками. Она замечала, как копошатся внизу люди. Они стреляли друг в друга, таскали раненых и убитых, закапывали в ровики орудия, наводили переправы через речушки и болота, наступали, отступали. Но сейчас они не интересовали её. Надо было сделать облёт окрестностей и решить, что делать дальше…

Глава четвёртая

Утром, когда стихла стрельба и наступающие части прошли на запад, экипаж сбитого Ил-2 и ещё трое танкистов сгоревшего танка, переправляясь вброд через Вытебеть, обнаружили на песчаной косе под черёмуховыми зарослями разведчика. Он стонал, подтягивал к животу ноги и резко распрямлял их. Тело его дрожало, сведённое судорогой, от которой он пытался освободиться. Видимо, он всё ещё пытался выбраться из реки.

– Командир, смотри. Кажись, разведчик. Камуфляж…

– А ну-ка, ребята, давайте вытащим его на берег. – И лейтенант Горичкин первым бросился в воду.

– Мальчишка совсем, – сказал один из танкистов, когда раненого перевернули на спину и начали ощупывать тело.

– Вроде нигде ничего…

– Контужен.

– Давайте-ка быстро режьте палки. Носилки сделаем. В санчасть отнесём. Видать, здорово нахлебался. Набок его надо положить. Давай сюда, на солнце, тут ему лучше будет.

Они вытащили разведчика на берег, положили на нагретую землю. Вскоре он заворочался, и его тут же стошнило зелёной водой и песком. Озноб прошёл, лицо порозовело. Немного погодя он уже попытался поднять голову.

– Лежи, лежи. Ты как сюда попал?

– Полковая разведка… Взвод… Взвод пешей разведки… – бормотал разведчик, захлёбываясь зелёной жидкостью.

– А как зовут тебя, пешая разведка?

– Иванок…

– Иванок? Или Иванов?

– Иванок. Иванок меня зовут.

– Это что, фамилия такая – Иванок?

– Отстань от него. Хреново ему. Пока не проблюётся… Давай-давай, разведка! Пошло-пошло!..

Танкисты выломали подходящие палки и принялись ладить носилки.

Только что заглянувшие в лицо смерти, потерявшие товарищей и свои боевые машины и сами, казалось, чудом избежавшие участи тех многих, лежавших теперь неубранными по берегам Вытебети и там, позади, в лесу, они радовались, что найденный ими мальчик в пятнистом камуфляже разведчика жив, и старались выходить его, помочь всем, чем могли.

– А ну-ка, Елин, – приказал один танкист своему напарнику, – давай свою фляжку.

– Думаешь, можно? Мальчишка ведь.

– Ты слыхал, как этот мальчишка матом ругается?

Они засмеялись. Танкист Елин вытащил из-за пазухи помятую фляжку.

После глотка водки щёки и шея Иванка загорелись, на лбу выступили крупные капли пота.

– Ну вот, – засмеялся танкист. – Сразу и прижилась. Парень что надо. Добро не портит. Хороший танкист будет. Понесли его, ребята.

Иванок попытался встать, но одного желания оказалось мало, и он повалился набок, ткнулся лицом в землю, застонал. Его подхватили крепкие руки и переложили на носилки. Понесли. Он колыхался на прогибавшихся под его телом орешинах. Солнце грело его лоб и щёку, но он почти не чувствовал его прикосновений.

Кругом лежали неубранные тела убитых. Ни в ком он не узнавал ни старшины Казанкина, ни сержанта Евланцева, ни ребят из группы прикрытия. И в нём, словно солнечный

луч, пробившийся сквозь мокрую одежду, затеплилась надежда, что разведчики живы, что хотя бы кто-то из них спасся. Ведь не могли же погибнуть все.

Глава пятая

Воронцова выписали из госпиталя в середине октября. Три месяца он пролежал в палате со спёртым воздухом, где раз в неделю кто-нибудь умирал, откуда уносили на очередную операцию и куда потом приносили людей без ног, без рук, куда изредка приходили письма, которые читали вслух по нескольку раз и с которыми засыпали, крепко держа их в руках, как надежду на то, что всё то дорогое, родное и светлое, без взрывов и выстрелов, с чем они однажды, по необходимости, расстались, они ещё обретут. Рай не может быть вечным. Палата, пахнущая гниющими тканями человеческого тела, куда смерть тоже захаживала довольно часто, стала утомлять, и его потянуло на свежий воздух, в окопы.

– На фронт вам ещё рано, – сказала Мария Антоновна. – Надо ещё немного окрепнуть.

– Да ведь ноги у меня больше не трясутся, – попытался пошутить Воронцов. – Смотрите! Вот! И ходить могу без палочки. – Он поставил свою трость в угол и продемонстрировал Марии Антоновне свои вновь обретённые способности.

– Однако ходите с палочкой, – заметила она.

И действительно, из той памятной палки, свидетельницы его нелепой стычки с блатняками, видимо, дезертирами, он вырезал прекрасную трость, отшлифовал её осколком стекла и обжёг на костре.

– Хотите, я вам её подарю?

– Нет уж, – ответил Мария Антоновна. – Вам она ещё послужит. Думаю, не меньше месяца. У вас два варианта: либо мы вас направим в госпиталь для выздоравливающих, либо будете поправлять здоровье дома.

– Домой, – коротко сказал Воронцов.

– А вы уверены, что там вас обеспечат хорошей пищей? Вы понимаете, о чём я говорю? Здоровая и достаточная пища для вас сейчас – самое важное. Подумайте. Я могу вас направить в санаторий для выздоравливающих. Вот там вас действительно очень скоро поставят на ноги. А в деревне… Вы же знаете, как сейчас живёт деревня.

Воронцов знал, как жила деревня. В Подлесном та же картина, что и везде.

– Домой, – упорно повторил он.

Забытым голосом детства, некой волшебной сказкой, вычитанной однажды в старом букваре, пахнущем кладовкой, прозвучало это слово: «Домой». Воронцова поразило оно своей очищенной, изначальной сутью. Ведь именно к ней и стремился он все эти два года. То же самое он видел в глазах других бойцов, чувствовал в интонации речи, когда они рассказывали о своей родине. Тосковать о своём доме и родне на фронте было не принято. Дурной знак: заговорил солдат о жене и детях, о деревне своей, о матери и об отце, глядишь, в первом же бою и упал, а то и вовсе – прилетела в окоп с той стороны шальная пуля калибра 7,92…

Сборы оказались недолгими. Он быстро переоделся. Лидия Тимофеевна подобрала ему гимнастёрку поновее. Шинель он надел свою. Сапоги…

– На твои сапоги уже майор тут один зарился, – призналась завхоз. – Такой надоедливый дядька. Видать, привык на всём готовом, да на добром. Нет, говорю, товарищ майор, это добро не моё, а фронтовика одного, которому не сегодня завтра тоже на выписку.

Воронцов молча намотал новые портянки и натянул сапоги. Сапоги, что и говорить, были добрые. На ноге сидели плотно, при этом ничуть не жали. Видать, с хорошего склада. Может, сняты они с такого же армейского офицера, где-нибудь на тёмной привокзальной улочке, или куплены на барахолке, а туда попали через оборотистого интенданта. Да, кому война, а кому мать родна…

Он попрощался с соседями по палате. Зашёл к Марии Антоновне.

– Прощайте, Мария Антоновна.

– Прощай, Воронцов. Больше к нам не попадай.

– Не обещаю. Лучше к вам, чем…

– Лучше пусть тебя минуют все напасти. Все пули пусть пролетят мимо вас. – И она неожиданно обняла его и поцеловала в щёку.

– Желаю вам счастья, – собрался он напоследок, взволнованный её порывом.

Из госпиталя он вышел уже к полудню. В сквере напротив спорили, подскакивая друг к другу в воинственном азарте воробьи. Тоже что-то не поделили. Под ногами лежали жёлтые и багровые листья. Солнце, сквозившее пологими лучами через липовую аллею, золотило листву, делало её ослепительной. Воронцов оглянулся на окно офицерской палаты и увидел, что клён почти весь облетел. Окно сияло голубоватым отражением вылинявшего, будто застиранного осеннего неба. И в этот линялый осколок неба кто-то смотрел. Воронцов не рассмотрел, кто, но взгляд смотревшего почувствовал и подумал: наверное, лейтенант Бредихин, ему ампутировали обе руки выше локтей. Воронцов махнул рукой и пошёл в сторону вокзала. Оттуда через два часа должны отправляться машины со срочным грузом в сторону Малоярославца. А уж от Малоярославца до дома он доберётся быстро. Если на машине, и без пересадок, то часа три-четыре езды до берёзы. А там, от берёзы, всего-то часа два-три ходу. Но если бегом… Нет, бегом у него теперь не получится. Даже с тростью.

Все эти дни перед выпиской, понимая, что, возможно, отпустят на неделю-другую домой, а может, и вовсе комиссуют из армии или спишут в тыловую службу, он думал, куда же поехать вначале, если судьба всё же пошлёт ему счастье побывать в отпуске. В Прудки? Навестить дочь и Зинаиду с Пелагеиными детьми? Или всё же прямиком домой, в Подлесное? Деньги он им посылал всегда поровну. О том, как живётся им, ни Варя, ни Зинаида в своих письмах ему не писали, но иногда, между строк, или в самом тоне их он чувствовал, что – трудно. Знал и от других бойцов и офицеров, чьи семьи тоже побывали в оккупации, что жизнь на освобождённой территории была тяжёлой. Да если ещё и дома сожжены… Подлесное ни немцы, ни наши, и когда отступали, и когда наступали, не тронули. В Прудках тоже отстроились уже. И домой, к матери, в родное Подлесное сердце рвалось. И в Прудки, к Уле и Зинаиде, к Пелагеиным сыновьям надо заехать. Ведь он поклялся их не бросать. И Зинаиде. И Кондратию Герасимовичу.

И Воронцов в конце концов решил так: если случится добираться перекладными, то заедет в Прудки. А уже потом навестит и своих.

Своих… А разве Улита, Зинаида, Прокопий, Федя, Колюшка теперь не свои ему?

Воронцов шёл по тротуару, выложенному белым известняком. Постукивала его палка. В вещмешке позванивала ложка, которую он неосмотрительно, не по-фронтовому бросил в мешок прямо сверху, и вот теперь она при каждом неосторожном шаге шлёпала по банке. В дорогу ему выдали сухпаёк на несколько дней. Четыре больших банки американской тушёнки, несколько банок рыбных консервов, порядочный кусок сала, маргарин и две буханки хлеба. Рыбные консервы без этикеток. Сардины. Он это знал точно. Такие выдавали ему, как офицеру, в штрафной роте в качестве дополнительного продовольственного пайка. Тяжесть вещмешка радовала. Целый взвод можно накормить таким количеством продуктов. Вот сёстры обрадуются, подумал он, закидывая за спину вещмешок. И сразу решил: половину отвезёт в Подлесное, а другую половину – в Прудки.

Вначале он всё же решил ехать к матери. В Подлесное. На родину. К матери, к сёстрам, к деду Евсею.

Возле железнодорожной станции отыскал склады. Спросил часового, когда отправляются машины на Малоярославец. Тот, увидев его нашивки и ордена, уважительно и весело, как будто на родину им сейчас ехать вместе, ответил:

– А вон, товарищ лейтенант, грузятся! На Малый и поедут! Хотите, я с шоферами переговорю? Ребята все знакомые. Не откажут. – В голосе и несколько суетливых движениях

часового чувствовалась та простодушная солдатская готовность не то чтобы услужить, а послужить командиру, пускай даже незнакомому, какую он часто встречал на фронте.

– Спасибо, браток. Я сам. – И он с благодарностью кивнул часовому.

Командовал погрузкой пожилой старшина с кантами и эмблемами интендантской службы. Воронцов поздоровался, предъявил свои документы и сказал, что ему нужно сегодня быть в Малоярославце.

– Из госпиталя? – поинтересовался старшина.

– Да. В отпуск, на долечивание.

– Подкормиться отпустили. Так-так. – Старшина окинул его внимательным взглядом, задержался на мгновение на орденах, которые выглядывали в распах шинели. Было жарко, вот Воронцов и расстегнулся, и, как оказалось, кстати. – А там, видать, и самим есть нечего. А, лейтенант?

Воронцов ничего не ответил.

Погрузка, как понял Воронцов, шла к концу. Шоферы весело переговаривались, пересчитывали ящики, поправляли брезент, заботливо подтыкали края.

– Подчистую списали? Или как? – Старшина снова посмотрел на его ордена.

– Я же сказал, что в отпуск. Через месяц, не позже, переосвидетельствование. А там комиссия решит.

– Комиссия решит – на фронт. Если только что-нибудь с внутренними органами не в порядке.

– Да с органами у меня всё в норме. И с внутренними, и с внешними.

Старшина засмеялся. Подмигнул:

– Женат?

– Пока ещё нет.

– Ну да, молодой ещё. – И крикнул водителю, который закрывал задний борт: – Козлов, возьмёшь лейтенанта до Малоярославца. Понял?

– Не положено. Вы же знаете. – Голос Козлова, меланхоличный, тихий, словно пробовал старшину, словно тянул из него что-то.

– Знаю. Потому и говорю: лейтенант до Малоярославца поедет в твоей машине. Под мою ответственность. А вот в дороге никого не подбирать. В дороге действовать строго по инструкции.

– Всё понял. Будет исполнено. – Козлов расставлял слова редко, старательно, будто штакетины прибивал. Прежде чем прибить, примерял, чтобы косо не вышло. Посмотрел на Воронцова и улыбнулся: – Садитесь, товарищ лейтенант. Стоять-то вам, с палочкой… И разрешите всё же ваши документы. У нас тут хоть и тыл, а война – недалеко.

Воронцов вытащил из кармана удостоверение, справку из госпиталя, предписание и всё, что перед дорогой предусмотрительно сложил в самодельный портмоне на случай проверки документов.

Вскоре выехали. Машины потянулись по разбитой дороге, выбрались на окраину города, за которой потянулся лес – молодые еловые и сосновые посадки, местами, будто съеденные пожаром, вырубленные артиллерийским огнём.

– Где воевали? – спросил водитель, когда они отъехали километра три от города и дорога пошла поровнее, поспокойнее.

– Да тут и воевал, недалеко. На Варшавке. В первую осень.

– С сорок первого, что ль, на фронте?

Воронцов кивнул.

– Тут в сорок первом курсанты оборону держали. – И водитель покосился на Воронцова, будто измеряя ширину его плеч. – Не из них ли будете?

– Из них. Шестая рота. Пехотно-пулемётное училище.

– То-то выправка видна. А ранили где?

– В последний раз под Жиздрой. В июле.

– Во время наступления, что ль?

– Да, вперёд пошли. А они контратаковали. Мы отбились. Стали вывозить раненых, на мину наехали.

– Мины – самая сволочная штука, – оживился шофёр, будто вдруг узнал, что его собеседник земляк. – Я ведь как здесь оказался? Четыре месяца в Казани в госпитале отвалялся! Во куда меня занесло! Половины пальцев на левой ноге нет.

Только теперь Воронцов увидел на его гимнастёрке жёлтую нашивку за тяжёлое ранение.

– Где ж тебя так? – спросил он водителя.

– Тут, недалеко, под Кировом смоленским. В апреле, в прошлом году. Повёз на позиции заряды для дивизионных пушек. А оттуда раненых взял. Весна-то поздняя была. В лесу лощинка. Я её уже переезжал! Вот что интересно! И держал точно по своему следу. Я ж знаю, что такое – мины. На самом выезде – бах! Полуторку мою раскидало. Раненых… Все по берёзкам висят… А я как-то живой остался. Я и санитарка. Рядом сидела. Девчушка, лет восемнадцати. Она-то меня и спасла. Поблагодарить даже её не успел. Хорошо, следом другая машина шла, из нашего автобата. Знакомый водитель. Я ему раз на дороге, под обстрелом, коробку передач помог перебрать. Погрузили в кузов, в госпиталь сразу. Вот теперь в тылу кантуюсь. Может, и тебя комиссуют. – Водитель сунул в рот папиросу, чиркнул спичкой, затянулся. – Ты на фронт-то особо не рвись. Повоевал, хватит. Пускай другие повоюют.

Странное дело, в словах этого пожилого водителя полуторки Козлова была та внутренняя правда, о которой догадывался и он сам, но боялся признаться себе в том, что она в нём засела прочно, что скоро начнёт управлять не только мыслями, но и поступками. Вон сколько здоровых мужиков в тылу! Пусть они теперь повоюют. А война, судя по всему, закончится ещё не скоро. Немцы отступают. Но без боя не отдают ни одной позиции. А каждый бой – это потери. Сколько хороших ребят списал он по форме безвозвратных потерь! Сколько надёжных, толковых и добросовестных солдат! Каждый метр, каждый шаг на запад приходится оплачивать потерями, потерями, потерями. Каждый успех роты, батальона, дивизии – это потери. Воронцов вспомнил, как после каждого боя вычёркивал из списка взвода выбывших. Им тоже всем хотелось домой.

Хорошо просыпаться не в окопе, в следующее мгновение подумал он, давая волю своим внезапным мечтам. А где-то сейчас сидит в траншее взвод, сжал холодными руками винтовки, ждёт команды… Чего там, в холодной траншее можно дождаться? Пули? Малярии? А тыл – вот он. И он – единственная реальность, в которую он теперь вступает. Тыл, где не стреляют, не рвутся снаряды. Куда даже не залетают самолёты. Дорога до дома. Тоже тихая. По ней можно ехать на машине. Можно идти пешком. Как хорошо здесь! Боже, как хорошо! Ни траншеи, ни окрика ротного: «Рота, приготовиться…», ни трассеров навстречу, ни крика стонов и проклятий раненых, которым ты уже не сможешь помочь, потому что во время атаки у тебя, живого, задача другая… Как хорошо теперь ехать на попутной машине, зная, что каждая минута пути, каждый оборот колеса старенькой полуторки, громко похрустывающей на ухабах расхлябанными бортами, приближает тебя к дому, к той долгожданной встрече с родными тебе людьми, о которой тайком, со слезами, не раз думалось на передовой, а потом в госпитале. Дорога. Какая тихая, спокойная дорога! По ней не надо ползти, каждое мгновение думая об опасности получить пулю или осколок. Не надо бежать, пригнувшись, едва не колотя коленками по подбородку. Не надо отыскивать позицию для пулемёта и определять ориентиры для командиров отделений, чтобы те во время движения не разорвали и не смешали взводную цепь. Сиди и спокойно смотри в окно. Можно даже вздремнуть. И

госпиталем от него уже не пахнет. Пахнет каптёркой и утюгом. Видимо, Мария Антоновна распорядилась выгладить его новую форму, подобранную из обменного фонда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.